

Нам - 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

5/2024



В номере:

«Теперь уже не больно...»

Повесть Елены ЕРМОЛОВИЧ «Гогорю-91» — полуоборот назад, в начало огненных девяностых, спустя годы — воспоминание пожившего человека. Оттиск прошлого, где-то бледный, где-то отчаянно яркий. «...Для кого-то те времена оказались всё равно лучшие в жизни, самые счастливые». Оно ведь разное было, то грозное и весёлое время. Для одного — кровь на асфальте, а для другого — сумасшедший ночной полёт на кукурузнике по маршруту, кое-как намеченному на бумажной карте.

«Всё останется дольше памяти»

Время — сквозная тема философских миниатюр Сухбата АФЛАТУНИ:

«...лишь время/ шумит как сад — течёт как молоко/ со скатерти — и бьёт струёю в темя».

«Что человекит человек?/ Что человекит человека?» Этими вопросами, почти детскими по форме, но с глубоким смыслом, открывается подборка стихов священника и поэта из Донецка Дмитрия ТРИБУШНОГО. «Спеша к ответу», он горько замечает: «Как будто Божии Суды/ Случились с нами раньше срока». Его земляк Иван ВОЛОСЮК в своём военном цикле пишет: «Я ждал, когда в губительные дни/ росток пробьётся новой Иггдрасили/ из пепельной и угольной земли/ на стыке не России и России».

В лирике Надежды БЕСФАМИЛЬНОЙ — память о Великой Отечественной войне: Курская земля, «где рудники и родники окрест,/ Хлебов раздолье» и «где от боя плавится июль»...

Дедушка Рахматулла — Георгиевский кавалер

В рубрике «XX век. Просто жизнь» — рассказ-воспоминание

Зайтуны АРЕТКУЛОВОЙ «Памяти моего послевоенного детства».

Трогательный и безыскусный, он вобрал в себя, однако, не просто историю одной татарской семьи, но и значительный отрезок истории нашей страны, воплотившийся в судьбе деда автора — труженика, старого большевика, ветерана трёх войн.

Венок Булату

9 мая — юбилей Булата ОКУДЖАВЫ. Наш журнал не только печатал его стихи, но и опубликовал романы, что было по тем временам поступком. Всё это — «Золотые страницы «ДН»». В рубрике «Окуджавы. 100+» мы пройдем по его московским адресам, перечитаем, пожалуй, самую глубокую прижизненную рецензию на книгу его стихов, из дня сегодняшнего попытаемся распутать наполеоновский миф в романе «Свидание с Бонапартом» (который особо выделял сам писатель) и вспомним два его лучших рассказа — «Уроки музыки» и «Девушка моей мечты».

«Мы же вроде звали свободу...»

«В старости делаешься суетливым,/ Боишься быть сукою или гением...»

Юрий АРАБОВ — из стихов, напечатанных в «ДН» за пять лет до смерти.

«В моём поколении все писали стихи», — вспоминает Арабов. Публикующиеся впервые эти его воспоминания — о поэтической студии Кирилла Ковальджи: рассказ о мэтре и студийцах, о поколении «московского андеграунда», о стихах и о времени — с 80-х и до наших дней. «Участники той студии до сих пор живы и кое-как работают. Они не стали ни палачами, ни жертвами, и это хорошо.

...Ни прошлое, ни настоящее время не является для нас своим...»

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2024.
Подписано в печать 22.04.2024.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сухбат АФЛАТУНИ. Будет свет. <i>Стихи</i>	3
Елена ЕРМОЛОВИЧ. Гогорю-91. <i>Повесть</i>	6
Евгений ЧИЖОВ. Кровь и судьба. <i>Рассказ</i>	53
Дмитрий ТРИБУШНЫЙ. Костры, невидимые миру. <i>Стихи</i>	78
Денис КОЛЧИН. Позвоните майору Кебедову. <i>Рассказ</i>	80
Максим ГУРЕЕВ. Платформа Пионерская. <i>Повесть</i>	93
Иван ВОЛОСЮК. Губительные дни. <i>Стихи</i>	111
Сергей ПРУДНИКОВ. Искупление. <i>Рассказ</i>	114
Светлана ВОЛКОВА. Палец. <i>Рассказ</i>	126
Сергей МАЛЫЦЕВ. Маша, Медвед и воздушная тревога. <i>Рассказ</i>	136
Надежда БЕСФАМИЛЬНАЯ. Где светла небесная иордань. <i>Стихи</i>	140
Сергей ВАРАКСИН. Гогель-могель. <i>Рассказ</i>	143
Михаил КАЙДАШ. Два рассказа	146
Олеся ВАРКЕНТИН. Нурия апа. <i>Рассказ</i>	152
Евфросиния КАПУСТИНА. По большой воде. <i>Стихи</i>	160

XX ВЕК. ПРОСТО ЖИЗНЬ

Зайтуна АРЕТКУЛОВА. Памяти моего послевоенного детства. <i>Воспоминания татарской девочки</i>	163
--	-----

ВЕРНИСАЖ

Стихи, картины, QR-код	185
------------------------------	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Юрий АРАБОВ. Литклуб через призму эго. <i>Предисловие Евгения Бунимовича.</i> <i>Публикация Ольги Катаевой-Арабовой</i>	192
Юрий АРАБОВ. Звезда Ништяк. <i>Стихи</i>	199

ОКУДЖАВА. 100+

Александр ВАСЬКИН. Булат Окуджава: «И расцветёт Москва от погребов до крыш»	202
Булат ОКУДЖАВА. «Я вернулся с фронта...» <i>Рассказы</i>	217
Наталья КРЫМОВА. Свидание с Окуджавой (Б.Окуджава. «Стихотворения»)	234
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ. Громадная тень корсиканского гения. <i>Наполеоновский миф в романе Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом»</i> ...	242

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Мария БУШУЕВА. Эссе о Мусоргском (А.Мелихов. «Испепелённый»)	252
Андрей ПЕРМЯКОВ. Облачная дисциплина (И.Фаликов. «Прости»)	256
Елена САФРОНОВА. Чувствительный автофикшн (И.Кузнецов. «Тонкие вещи»)	261

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. «В эпицентре мини-экокатастрофы» (В.Коркунов. «Тростник на изнанке Земли»)	264
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Сами виноваты	268
-----------------------------------	-----

Summary	272
----------------------	-----

Сухбат Афлатуни

Будет свет

* * *

неудачник
да: неудачник
объективно — хоть смейся
хоть плачь

в голове мерцает задачник
с вариантами
неудач

да и время года такое —
осень: что с неё взять?
дождь и снег

он стоит над грязной рекою
задачки решает в уме

математик —
и математик
неплохой (репетитор и проч.)

он выходит в ночь как лунатик
и глядит на реку и дождь

ничего — всё будет иначе
будет праздник
будет свет

в серых водах тонет задачник

дождь переходит в снег

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился в 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Главный редактор литературно-исторического журнала «Восток Свыше». Автор нескольких книг стихов и прозы, среди них — «Русский язык» (М., 2019). Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006) и других. Постоянный автор «ДН». Живёт в Ташкенте.

* * *

он постелил мне на кухне
показал где гасить свет
долго возился в ванной
я замотался в плед

пахло стиркой
старой едой
ванная пела ржавой водой

я лежал и думал
дыша в прокуренный плед
мысли текли как из крана
и сглатывались
темнотой

планеты: Марс

начальник войны
выезжает на красном коне
рот открывает
железные зубы видны
в целом держит себя так
как будто он — не
начальник войны

а скажем — отдела сбыта или ещё
чего-нибудь — мало ли где они —
начальники — водятся?
выбритость щёк
и мёртвый взгляд — ещё не знак
что это начальник войны

и всё-таки — это он
на красном коне
железные клацают зубы
протезы скрипят
трясётся нижняя челюсть
в синем огне
два мёртвых глаза —
не видят
но зорко следят

чувствуется что у него
есть дети —
продолжат дело отца или нет
неважно — скорее всего
они ещё учатся

учение — это свет

а возможно кстати
они уже взрослые
у них — свой бизнес и свой
взгляд на вопросы
превентивной дипломатии
в эпоху постиндустриальных войн

но отец пока рулит
пока
гарцует на красном коне
он — начальник войны
и значит — война близка

я спал
и плакал во сне

* * *

*меня здесь лечат
душ Шарко
прогулки по заснеженному саду
на завтрак творог молоко
и булка
что ещё для счастья надо?*

так он писал
а может — и не он
конверт пропал

лишь время
шумит как сад — течёт как молоко
со скатерти — и бьёт струёю в темя

* * *

и эту тьму
я снова как-нибудь переживу
и эту боль

на дне стакана подсыхает соль

переживу — пережую — сглотну

запью водой — прилягу
не усну

и выйду на балкончик ледяной
не умирать — но подышать весной

Елена Ермолович

Гогорю-91

Повесть

Нет, я не буду знаменита
Меня не увенчает слава
Я, как на сан архимандрита,
На это не имею права.

ЛДМ, ленинская комната

Лимонный рассвет над ломаной линией крыш.

— Кс-с!

Има ложится животом на подоконник, свешивается из окна и швыряет вниз разорванную сосиску. Из кустов выныривает глазастое ангельское личико кошки.

Во дворе живут три кошки, черепаховые — такие ещё зовутся богатками, — и все три превосходной пушистости. Сейчас из кустов глядит лишь одна, — кошка в воздухе ловит кусок сосиски, исчезает, и через пару секунд приводит с собой оставшихся двух — здесь кормят! — и уже три херувимских личика глядят из кустов, сияя глазами, ожидают. Има отдаёт им остальное.

Сумеречный утренний воздух влажен и пахнет рекой. Но Има москвич, он не знает, какая тут у них, в Ленинграде, рядом с гостиницей ЛДМ, река.

ЛДМ означает — ленинградский дворец молодёжи.

С верхних этажей — вдруг — шорох, шум, и прямо перед Иминым носом пролетает в воздухе тело, голое, но в кроссовках. Длинные волосы дыбом, звериный запах. Кошки прыскают прочь с сосисками в зубах.

Има свешивается из окна ещё дальше и глядит вниз — жив ли?

Да, жив. Парень поднимается с земли, отряхивает ладони, колени, подбирает рядом с собой ключи. И вот уже зад его лунно белеет, удаляясь. Шелест кустов, движение ветвей. И где-то там, вне поля зрения, за кадром, — стук автомобильной дверцы и чих мотора.

Ермолович Елена Леонидовна родилась и живёт в Москве, училась в Московском технологическом институте (дизайнер по костюму). Автор серии исторических романов, в том числе «Саломея» и «Чёрный спутник». Лауреат премии «ДН».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 4.

— Сейчас должна заиграть музыка, — говорят из-за спины, из комнаты.

Има сползает с подоконника и оборачивается.

Искуситель сидит на его диване, мерцающий, полупрозрачный, сквозь его белый шарф и сквозь саркастическое бледное лицо просвечивает деревянная полированная диванная спинка. Искуситель говорит по-немецки. Иногда он говорит и по-французски, и тогда Има его не понимает. И когда он пытается объясняться по-русски — Има тоже понимает его с трудом.

— Чёрт бы драл... я думал, ты уже того... ой...

Има и правда верил, что после всего Искуситель, наконец, уберётся. Но абстиненция закончилась — и вот он тут.

— Забавный... Думал, что сбежал от меня, — и в мой город. — Искуситель нежно смеётся и всплёскивает руками в пенно-белых манжетах. — Здесь всё моё, в этом городе я забыл своё сердце.

— И что у них тут за река? — спрашивает Има, присаживаясь на край подоконника.

Хотя у Искусителя не следует, конечно, ничего спрашивать, да и смотреть на него не стоит. Ведь потом не отвяжешься.

— Кляйне Неффка, — опять смеясь, говорит Искуситель.

Он сегодня не очень отчётлив, может, он и не совсем. Длинные его волосы завиты над ушами и словно припудрены пеплом, Има знает, что это называется «а-ля неж». «Как снег». Халат расшит птицами и чудовищами, но какими, не разобрать. Из-под халата глядят сафьянные домашние туфли-бабуши — он же дома, вот и одет по-домашнему.

— Кыш, — без особой надежды велит ему Има, — уйди с дивана. Мне надо спать.

— Спи, — неожиданно милостиво позволяет Искуситель.

Золотисто-парчовый призрак идёт рябью, тает, растворяется в воздухе. И вот уже никого на диване нет, полированная спинка с кожаными подушками отчётливо видна.

Има садится на диван. Ему очень, очень хочется спать. По-настоящему. Неужели только лишь потому, что этот — разрешил?

Сон. Четыре часа подряд — впервые за четыре месяца. Благословенное валяние в тёмном пыльном мешке, без мыслей, без сновидений, без боли.

Има проснулся оттого, что в коридоре гудит пылесос.

Солнце уже влезло в комнату и вдохновенно золотило всю дурацкую коммунистическую фигню на стенах, все эти вымпелы и горны, и портреты генсеков, и переходящее красное знамя в углу со шнуровыми тёмными кистями, то самое, что в детских страшилках именно «переходит» из угла в угол и душит пионеров.

Има жил в гостинице не в номере, а в ленинской комнате. Так уж сложились обстоятельства. Раковина, туалет — в коридоре. Душ — этажом ниже, в цоколе. Увы.

Има сел в одеяле, огляделся — нет, этот не вернулся.

Пылесос уехал дальше по коридору, и стало слышно, что говорят за стенкой. В соседнем номере голоса повторяли монотонно, нестройно, хором:

— Рё-нинграде. Рё-нинграде. Рё-нинграде.

Има нашарил под диваном ботинки, взял со стула чайник и вышел в коридор. Одеваться не пришлось — он спал одетый. Только помотал головой, чтобы чёлка не лезла в глаза.

В соседнем номере жили японцы. И ещё в нескольких номерах на этаже. Съёмочная группа. Рассеянный Има иногда налетал на них в коридоре.

Японцы снимали фильм из русской классики и со своими актёрами, что-то вроде «Идиота» Акиры Куросавы. Портъё тётя Галя, чьей милостью и очутился Има в ленинской комнате, рассказывала, что их главный японец, господин Ойя, родом из какой-то глухой японской провинции, прилетел в Ленинград в национальных сандалиях, деревянных, с перемычкой между пальцами, таких, что носят с белыми носками. *Эта* они называются, что ли. Поклацал в них пару дней, оценил, как местные на него тарашатся, и купил в комиссионке не менее клацающие (железной подковкой) рыжие длинноносые туфли из яловой кожи, и на три размера больше. Потому что деревенской ноге непривычна закрытая обувь.

Тётя Галя утверждала, что потешные носатые туфли Ойя носит из уважения к ленинградским традициям. Здесь же все в таких. И Има ей верил. Японцы уважают традиции. Это то немногое, почти единственное, что он знал о японцах.

И ещё — каждое утро Има слышал, как за стеной они разучивают по слогам русские имена и названия. Хором. В номере господина Ойя собиралась вся их съёмочная группа.

Короткие имена шли у них хорошо, их приходилось повторять всего-то раза по четыре. А вот длинносложные не давались. Особенно название гостеприимного города, куда приехали японцы снимать своё кино. Има каждое утро слушал их многоголосое, непокорное: «Рё-нинграде».

Има постучал, и «рё-нинграде» затихло. Зато сказали, почему-то по-английски: — Камин!

И Има осторожно вдвинулся в номер. Прошёл прихожую, позвякивая чайником. Тут был целый люкс из нескольких комнат и с зеркальной передней, на стенах полированные деревянные панели. Японцы сидели кружком в гостиной, и все одновременно на него уставились, их было человек десять: кто-то на диване, кто-то в кресле, кто-то — ноги калачиком — на полу.

— Кипятильник не одолжите? — обратился Има к господину Ойя, единственному, кого он знал в лицо, — тётя Галя их друг другу представила. (Има сразу узнал Ойю среди других почти таких же японцев — Има любил азиатское кино и оттого азиатов неплохо различал.)

В портъё тётю Галю, монументальную и величественную, господин Ойя был влюблён безответно, глядел и млеял, сам ей до подмышки. Впрочем, Има не уверен был, точно ли безответно. Ойя был молодой, хорошенький, с круглым ореховым личиком и с одинаково чёрным металлом играющими глазами и чёлочкой. Одна беда — малыш, с сидящую собаку ростом. Тётя Галя решила, что Име такое знакомство будет полезно. И — да.

Ойя смотрел на Иму молча и неотрывно, вытянув шею, и ртутно-чёрные глаза его очень широко раскрылись. Как открываются фары у машины «Феррари».

— Кипятильник, — повторил Има и пальцами изобразил изгиб. И прибавил смущённо, одновременно сдувая чёлку с глаз: — Я свой спалил...

Ойя сморгнул, соскочил с дивана, цокнув подковками, — и ничуть не сделался выше. Убежал в соседнюю комнату — присные молча следили за ним, поворачивая головы. Вернулся с хорошим большим кипятильником. А Има-то боялся, что «кипятильник» — длинное, многосложное слово и Ойя его пока не выучил.

Ойя смотрел так, будто очень хотел Иму потрогать, но не решался. И пальцы дрожали у него, и длинные ресницы.

— Гогорю, — мечтательно проговорил Ойя и кипятильник отдал.

— Спасибо. — Има торжественно вложил кипяtilьник в чайник. — Я потом занесу. Спасибо.

Этот был уже в номере. Сидел на подоконнике, в раскрытом окне. Ещё не проявившийся толком, почти прозрачный, сквозь него видно было, как ветер в окне гонит одну за одной берёзовые зелёные волны. Начало осени, но листья всё ещё были зелёные. Оттого, что в дождливое лето — напились влаги.

Има набрал воды в туалете и поставил чайник на стул, воткнул кипяtilьник в розетку.

— Что такое «гогорю»? — спросил Има.

Хотя тоже, нашёл у кого. Искуситель был теперь не в домашнем, — в серебряном и бархатно-коричневом, его наряд заставлял припомнить, что «коричневый» — это именно от слова «корица». Сладкое, дразнящее, душистое. Синнабон.

— Я не знаю, — пожал плечами Искуситель. — Вдруг это уточка такая — гоголь? Сегодня он был в духе и говорил с Имой по-русски.

В чайнике поползли первые пузырьки. Има глядел на них и понимал, что не хочет он чаю. Хочет — снова спать. Отоспаться за четыре месяца рваного короткого забытья. Има вытянул кипяtilьник из розетки и сел — осел, как сугроб, — на диван.

— Поспи, — уже по-немецки разрешил и Искуситель, — наберись сил.

Воробьиная стая пронеслась за ним, прозрачным, яростно щебеча и словно прошивая Искусителя насквозь.

Има сбросил ботинки и улётся, под одеялом по-детски подобрал колени. Разрешили, значит, можно спать.

Когда я сплю — почти всегда мне снится одно. Мне снится, как я проснулся и вызвонил такси. Как спускаюсь по лестнице в своём доме, на Кутузовском, и шаги отдаются гулким ритмичным эхом. Огни проспекта и машину у подъезда я вижу размазанными, словно сквозь слёзы.

— В Малаховку!

Машина едет, и дорога с её размытыми фонарями, белой разметкой, полосами света от фар словно наматывается внутри меня на клубок, проглатывается, влетая в... Одна и та же дорога, те же повороты, и светофоры, и дома, и сараи — я знаю, помню... Одна и та же дорога, как повторяющая себя мелодия, уроборос, рондо поэта Вийона.

И тот дом в Малаховке, белый, кирпичный. На крыльце всегда курит мулат, а я знаю, что он не мулат, а цыган, просто очень смуглый. Вася Солдат. Он дружески приобнимает меня:

— Иди, тебя там заждались.

И я иду в дом.

В прихожей свалена вся хозяйская обувь: от босоножек до обрезанных резиновых сапог. Хламно, грязно. Пахнет печкой и перьями. И жареным луком, да, всегда. Потому что.

Гостиная — хозяйева в наивной гордыне зовут её «зал», — здесь сидит в кресле бабушка, Нонна Марковна, и вяжет. В телевизоре перед нею всегда один и тот же фильм, здесь, в моём сне, — польский «Мистификатор». Одна и та же сцена из фильма. Двое любовников в постели, в лесу, под снегом — и бледный снег ложится хлопьями на их мерцающую белую кожу.

— Здравствуйте, — говорю я хозяйке.

Но она не слышит, она глухая. Она кивает, и всё.

Иди же.

И я подхожу к коврику за её спиной, приподнимаю край его — там дверь. И следующий запах, уксусный, тревожный. Уксусный и уже немножко — тот самый.

И дальше там, за дверью, — счастье моё. Покой и воля. Радость, составленная кое-как из кусочков янтарно играющей смальты. Дом мой, мир мой, и тёплое млеющее чувство, что всё наконец-то у меня — теперь-то на своём месте. Хоть так.

Однажды людоед дал в газету объявление: «Приходи ко мне, я тебя съем». И какой-то тип явился по объявлению, и его, конечно же, съели. И я как никто понимаю этого съеденного, этого дурака.

В дверь постучали.

Има аж подпрыгнул в постели, и двумя руками взлохматил волосы — так зачесалась голова. Потом поплёлся открывать. Лохматый, в носках.

На пороге стояли господин Ойя и ещё одна японка, прежде Имой не виденная, высокая, с лицом — круглоскулым сердечком — и с рыцарской стрижкой.

— Ника, — девушка протянула Имае руку решительно, как мужчина, — господина Ойю вы знаете.

— Знаю, — согласился Има и задорно потряс её тёплую твёрдую ладошку.

— Гогорю, — опять повторил Ойя и воззрился на Има изнизу с ликом глупым и мечтательным.

— Этот его Гогорю — это Гоголь? — тут же спросил Има у Ники, похоже, Ника была тут в роли переводчика.

— Гоголь, — кивнула Ника, и чёлка её перелилась, как ртуть. Какие же были у них у обоих волосы — как стальная воронёная вода... И Ника сказала потом: — Вы похожи на Гоголя. У вас такая же причёска. Вы свободны завтра, часов в семь утра — и до одиннадцати?

— Обидно это. Я всегда считал, что похож на Ди Ди Рамоуна, — огорчённо проговорил Има, и Ника чуть улыбнулась. Как будто знала, кто это.

— Так вы свободны? Завтра, с семи до одиннадцати?

— До пятницы я совершенно свободен. Да и в пятницу, признаться, свободен тоже. А что нужно делать?

— Сыграть Гоголя, пройти по набережной в образе, в шляпе и в гриме. Так-то это пара минут, но сами понимаете: гримёр, дубли, пока свет выставят.

— Гогорю, — повторил ещё раз Ойя смущённо, — вы. Идеал. Бриллиант.

И вдруг сдвинул свои яловые пулены носами вовнутрь, как девочка из манги.

— Ладно, — мгновенно сдался Има.

Предложение льстило ему, хоть и немного пугало.

Прежде японцы видели Има исключительно в шапке-петушке с надписью «Лыжня», Има мёрз, его терзала абстиненция. И тётя Галя представила его господину Ойе именно в этой шапке. А сейчас шапки не стало, и тайное сделалось явным. Сходство причёски с Гоголем (хотя Има и надеялся, что с Ди Ди Рамоуном).

— Тогда завтра я зайду за вами в шесть тридцать. Сюда, — строго посулила Ника. — И не забудьте паспорт — мне нужно сделать договор.

На ней тельняшка была с прорехой у ворота, и джинсы, и кеды — как будто и не японка, а солистка «Автоматических удовлетворителей». И булавка английская в ухе, да. Има только сейчас разглядел.

— Вы не японка? — возгласил он со всей возможной храбростью. И пояснил, уже тише: — Вы ведь не учите с ними эти их — Рё-нинграде? Я вас там не видел.

— Я казашка, — Ника улыбнулась, теперь пошире, показав мелкие неровные зубки, полупрозрачные, острые на вид. — Я наёмник у них. Спасибо, что не путаешь с японкой — это же разное: казашка и японка. Пока, Гогорю.

Има вернулся к дивану и к ботинкам, обулся. Вышел из номера и отправился вниз.

В лифте ехал с ним тот, голый, волосатый, что сигал с утра с верхних этажей. Теперь-то, конечно, уже в одежде, но кроссовки остались те же самые. И волосы — длинные, рыжевато-выгоревшие, пахнувшие хищничьим мускусом. Има не глядел в лицо ему, застенялся.

На этаже ноль Има вышел, а бывший голый остался в лифте. Шарил по стенам, что-то трогал, что-то бормотал.

Има подошёл к стойке размещения — портье тётя Галя сидела за стойкой и читала книгу.

— Смотрите, — Има потянулся за стойку, тронул портье за плечо и указал на психа в лифте.

— Это медиум из три-два-семь, маэстро Гуменюк, — ничуть не удивилась тётя Галя. — Он с сущностями разговаривает.

«И я», — тут же подумал Има и проникся к бывшему голому почти что симпатией.

— А что вы читаете?

Тётя Галя прикрыла книгу и показала обложку: Иммануил Годоев, «Постмортем».

— Отчего-то я так и подумал, — Има сморщился, как от боли. — Можно, я позвоню?

Тётя Галя кивнула. Има придвинул телефон и набрал номер.

— Мама?

— Имка, только без гадостей! У меня тут в машину залезли, всё украли, представляешь?

— Всё-всё? И сиденья? — Има мгновенно вообразил мамину «копейку», пустую, как гроб на колёсиках.

— Ага, табуретку поставила и езжу, — на том конце провода мама тихо рассмеялась, и Има понял, что сиденья всё-таки не украли.

— А ты — как? — спросил он осторожно. Боясь ответа.

— Я же сказала — как. Как сирота, без радио теперь. Ольга Ивановна про тебя спрашивала, — и мама прибавила на случай, если Има не понял. — Аверьянова. Из «Современника».

— И — что?

Это было важно. И страшно.

— Позвонила, спросила, нет ли у тебя ещё чего-то. Нового. И говорит, почти разошёлся тираж.

— А ты?

— Сказала, что в процессе.

— Ничего не в процессе. Ничего! Ничего нет. И не будет ничего! — Има сорвался в петушиное, кинул трубку.

Потом устыдился — тётя Галя смотрела на него поверх книги, удивлённо и строго. Брови у неё были выщипаны в ноль, и в сантиметре над бывшими собственными нарисованы новые, изумлённо вздёрнутые.

— А мне нравится, зря ты так, — сказала она, приподняв над коленями книгу. «Постмортем», автор Иммануил Годоев.

Евгений Чижов

КРОВЬ И СУДЬБА

Рассказ

В субботу, в четыре часа дня, а если быть точным, в четыре часа четырнадцать минут, Пётр Андреевич Бусыгин поставил последнюю точку. Перечитал заключительный абзац, поправил пару мелочей и отложил лист в кипу исписанной бумаги. Откинулся на спинку кресла. Ощущения праздника от завершения большой работы не было, только накопившаяся усталость, прежде незаметная, накрыла его так, что двигаться не хотелось. Да и рано было для праздника, много ещё предстояло сделать прежде, чем он наступит. И всё-таки главное было закончено, огромный роман «Кровь и судьба», почти полторы тысячи страниц, лежал на столе неподвижной бумажной грудой, где были плотно спрессованы и утрамбованы десятки человеческих жизней с их страхами и банальностью, отчаянием и надеждой. Поэтому брошенный за окно усталый взгляд Бусыгина был иным, чем в последние два десятка лет, когда он корил себя за любое отвлечение от работы. Теперь ему не к чему было себя принуждать, он долго смотрел на медленно разворачивающиеся над крышами осенние облака, и также медленно разворачивалось у него в груди чувство обрётённой свободы, в которую он вступал совсем новым человеком — автором большой и никем ещё не прочитанной книги. Потом начало темнеть, и на лиловых и розовых выпуклостях облаков зажглись спроецированные снизу буквы рекламы. Пётр Андреевич поморщился и отвернулся от окна — рекламу он не любил.

Вышел на кухню, достал из заветного шкафчика бутылку лимонной водки, налил рюмку всклянь и быстро опрокинул, чтобы чувство обрётённой свободы перешло уже, наконец, в какую-никакую радость. Увидел себя в зеркале: крупный, широкоплечий мужчина, немного, конечно, уже обрюзгший, но если специально не вглядываться, то ещё ничего, ничего... Тут Бусыгин вдруг подпрыгнул и, прежде чем приземлиться, успел несколько раз шлёпнуть себя в прыжке ладонями по груди и животу. Глядя на своё покрасневшее от внезапного усилия лицо и вывалившийся из штанов живот, рассмеялся. Он ещё и не на такое способен! Отдышавшись, взял телефон позвонить

Чижов Евгений Львович — прозаик, переводчик, журналист. Родился в 1966 году в Москве. Автор романов «Тёмное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли», «Перевод с подстрочника», «Собиратель рая», а также повестей, рассказов и эссе, лауреат премий «Венец» СП Москвы за «Перевод с подстрочника» и «Ясная Поляна» за роман «Собиратель рая». Живёт в Зеленограде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 3.

знакомой наборщице, чтобы перепечатала на компьютере его рукопись. У Петра Андреевича и у самого стоял на столе подаренный сыном компьютер, и он более-менее научился с ним управляться, но печатать не любил. Подумаешь, Достоевский тоже не сам печатал! (Правда, тогда ещё, кажется, и пишмашинок не было, впрочем, какая разница, — если бы и были, всё равно б не стал.) А у Толстого и подавно была Софья Андреевна, по двенадцать раз за ним переписывавшая. Так что может и он позволить себе наборщицу, не разорится. Пётр Андреевич сел с телефоном в кресло у окна, но когда, напрягая зрение, набрал номер, над домом, закрыв свет, с низким гулом проплыло аэротакси, и в наступившей на секунду темноте Бусыгин ткнул не ту кнопку. Выругался вслед железному брюху скрывшей полнеба машины и, чувствуя, как дребезжанию стёкол неприятно отзывается мелкая дрожь в низу живота, отложил телефон и выпил ещё рюмку лимонной. Закусил малосольным огурцом и испытал сильный соблазн распахнуть окно, чтобы швырнуть огрызок огурца в громыхающее по небу такси. Но удержался. Всё-таки солидный человек, серьёзный писатель, не пристало ему огурцами кидаться.

Через месяц рукопись была набрана и отправлена в издательство, где когда-то вышли первые книги Бусыгина, где его наверняка помнят и ценят, потому что неоднократно звонили, чтобы спросить, когда, наконец, он закончит свой большой роман и они смогут его напечатать — читатели заждались. Последний звонок, правда, был уже довольно давно, лет шесть, если не больше, назад. Потом в издательстве наступили какие-то перемены, кажется, сменилось руководство, у Петра Андреевича не было ни желания, ни времени вникать, что у них там происходит, главное, голос сотрудника, обещавшего незамедлительно прочесть «Кровь и судьбу» и немедленно сообщить ему условия публикации, не вызвал у Бусыгина сомнений, что его по-прежнему ждут. Но когда из издательства не позвонили ни через неделю, ни через месяц, ни через два, сомнения всё-таки стали возникать, и чем дальше, тем больше. Наконец, Пётр Андреевич решил сам наведаться в издательство и разобраться во всём на месте. Если его роман не понравился, пусть так прямо в лицо и скажут.

Издательство находилось теперь не в центре, как раньше, а на другом конце Москвы, ехать туда Петру Андреевичу пришлось на метро через весь город. В полупустом бесшумно летящем звукопроницаемом вагоне Бусыгин загляделся на пассажиров: каждый второй был в новомодных цифровых очках в массивной оправе, куда был встроен микропроцессор, что-то им на стёклах очков, одновременно служивших экранами, показывавший. От этого лица делались непроницаемыми, будто и вовсе неживыми, каждый был погружён в свой фильм, или что они там видели, им даже друг до друга дела не было, не то что до Бусыгина. Что они за люди, с нарастающей тоской думал Пётр Андреевич, я ведь их совсем не знаю, что же я могу им сказать? Для чего им читать книгу, над которой я бился больше двадцати лет? Всё, о чём я там пишу, давно ушло, им это наверняка чуждо и безразлично. Но были всё-таки лица без цифровых очков, выглядевшие от этого трогательно беззащитными, будто обнажёнными, среди них особенно привлекали Бусыгина женские: женщины — лучшие читатели! Самые благодарные, самые понимающие, сочувствующие и героям книги, и, главное, её автору. Сколько таких сочувствующих было у Бусыгина в годы успеха его ранних книг! Где они теперь? Как нужны они ему сейчас! Точнее, конечно, не сегодняшние они, потому что им теперь немногим меньше, чем самому Бусыгину, а такие, какими они были тогда. Наподобие той, например, стриженной под мальчика узколицей шатенки с большим красивым ртом, сидящей наискось от Петра Андреевича. Не может быть, чтобы его роман её не увлёк! Пётр Андреевич всматривался в девушку,

как в свою последнюю надежду, представляя её захваченной его книгой настолько, что проезжает свою остановку, с трудом отрывается от страниц, растерянно осматривается, видит Бусыгина, их взгляды встречаются, в её глазах изумление, не может поверить, что перед ней то же лицо, что и на обложке, губы непроизвольно улыбаются... Тут девушка поднялась, повернулась к двери, и в изменившемся ракурсе Пётр Андреевич обнаружил, что это вовсе не девушка, а молодой человек, к тому же свою остановку проехал не он, а Бусыгин. Вот чёрт, теперь они все так стригутся и одеваются, что не разберёшь, где девка, где парень! Пётр Андреевич поспешно выскочил из вагона, стал искать, куда ему нужно пересаживаться, сел не в ту сторону, осознав это, лишь когда двери закрылись, вышел на следующей и понял, что опять заблудился. Это не раз случалось с ним с тех пор, как метро так невероятно разрослось и перепуталось за последние годы. Раньше Пётр Андреевич знал наизусть все станции на всех линиях — память у него всегда была отменной — и чувствовал себя в московском метро как дома. Теперь же линии удлинились настолько, что вышли за пределы не только города, но и области, неизвестно, кончаются ли они вообще где-нибудь или так и разбегаются по всей стране, существование обозначенных на схеме конечных станций было недостоверно, Пётр Андреевич никогда не встречал никого, кто бы там бывал. Какой уж тут дом, тут бы добраться до цели и прочь, скорее прочь из этого необъятного лабиринта.

Добраться удалось с почти часовым опозданием, и этим Пётр Андреевич объяснил себе то, что в издательстве его никто не встретил. Расстегнув плащ, он подчёркнуто независимой походкой расхаживал по светлым коридорам, ища, кого бы расспросить, а пока рассматривал висевшие на стенах фотографии, вероятно, популярных авторов, иначе бы их тут не повесили, ни одного из которых Пётр Андреевич не знал. Даже ни разу о таких не слышал. Это его, впрочем, не удивляло, он давно уже не следил за текущей литературой. Как не удивляло и то, что никто не спешил его узнавать, хотя когда-то, стоило ему появиться в этом издательстве, и лица сотрудников, а особенно сотрудниц, расцветали ему навстречу улыбками. Теперь же молодые женщины, как обычно, преобладающие среди работников издательства, спеша по своим делам, проходили мимо Петра Андреевича, в лучшем случае скользя по нему взглядом, словно по предмету мебели. Как и в метро, каждая вторая здесь тоже была в очках, и хотя это были вроде бы обыкновенные очки, ничего им не показывающие, у Бусыгина всё равно сложилось впечатление, что эти женщины существуют в своих отдельных мирах, куда ему хода нет. Поэтому он никак не решался остановить кого-нибудь, пока в конце коридора не показался мужчина в тёмном пиджаке, и Бусыгин решил, что это, наконец, тот, кто ему нужен. Мужчина был в самых больших очках из всех, что Бусыгин повидал сегодня, возможно, выглядевших ещё больше оттого, что сам он был щуплым, сутулым, невысоким и, приближаясь, не вырастал, а продолжал уменьшаться, точно съёживался. Его лицо и особенно лоб были изборождены морщинами, но вблизи Пётр Андреевич намётанным глазом определил, что мужчина вряд ли старше его, просто неопрятность и явная запущенность заметно его старили. Из правого уха торчала грязная ватка. Он был целиком погружён в свои заботы и не собирался замечать Бусыгина, но, когда тот остановил его вопросом, где найти главного редактора, уставился на него сквозь свои окуляры таким ошеломлённым взглядом, что Пётр Андреевич почувствовал: он-то меня сейчас и узнает. Ему этого уже совсем не хотелось, одно дело, когда тебя узнают молоденькие редактрисы, и совсем другое — этот насквозь пропахший пыльной книжной тоской неряшливый старик с ваткой в ухе. Объясняя Бусыгину дорогу к кабинету главреда, который, правда, в отпуске, и там сидит сейчас его заместитель, старик ощупывал его своими громадными тёмными глазами и, точно очков ему было мало, помогал взгляду

настроиться на резкость, двигая вверх-вниз лохматыми бровями, отчего шевелились все морщины его очень подвижного лица, испытывающего, казалось, острую боль от невозможности вспомнить Бусыгина окончательно. Узнает, сейчас точно узнает! Но обошлось. Пётр Андреевич поблагодарил за разъяснение, повернулся, и когда отошёл уже шагов на десять, раздался нерешительный оклик:

— Простите, минуточку...

Бусыгин сделал вид, что не расслышал.

Разговор с заместителем главного редактора вышел коротким. Это был ещё довольно молодой, но уже облысевший человек, при появлении Петра Андреевича посмотревший на часы, очевидно, давая Бусыгину понять, что расслаиваться ему здесь не придётся. Не слишком усердно изображая приветливость, он сообщил, что занятый неотложными издательскими делами, к сожалению, не имел возможности ознакомиться с текстом Бусыгина, но ему точно известно, что, улетая в отпуск, главный взял с собой распечатку «Крови и судьбы», чтобы, ни на что не отвлекаясь, прочесть в спокойной обстановке, благоприятствующей пониманию такого, без сомнения, значительного, а возможно, даже эпохального произведения, каким является роман Петра Андреевича. Так что придётся дожидаться возвращения главного редактора, чьё мнение во всех вопросах, касающихся публикации, таких как сроки, тираж, размер гонорара и прочих, является определяющим.

— Так сколько, говорите, вы писали этот ваш роман?

Пётр Андреевич почувствовал, что не может назвать настоящих сроков своей работы. Такая цифра прозвучала бы в стенах этой фабрики литературы смешно и нелепо.

— Да я вроде ничего такого не говорил...

— Ну, знаете, слухами земля полнится. Мне рассказывали...

— Какое это имеет значение? Сколько бы ни писал, главное, написал.

— Да-да, конечно, — согласился хозяин кабинета и снизу вверх посмотрел на Петра Андреевича долгим взглядом, в котором тот уловил насмешливую жалость.

— Подождём главреда, без него мы всё равно ничего решить не можем.

— Подождём, — согласился Бусыгин, как бы принимая вызов. — Время есть, спешить нам некуда.

А закрыв за собой дверь кабинета, подумал: «Смейся, смейся. Зато у меня все волосы ещё целы. Ну, или почти все, если быть совсем честным».

Он уже подходил к выходу, когда вновь услышал:

— Одну минуточку... Постойте! Подождите! Минуточку!

Человек с ваткой в ухе почти бегом спешил к нему по коридору, на его полных губах по мере приближения расплзалась во всю ширину морщинистого лица радостная улыбка.

— Чуть было вас не упустил! Я же не знал! Меня же никто не предупредил, что вы придёте! А я смотрю — знакомое лицо! Вы или не вы? Я же вас только на обложках видел, а там вы хоть и узнаваемы, но сильно моложе. Но узнать можно, можно, по сути, почти не переменялись! Разве что самую малость!

Осознав, что говорит что-то не то, он замолчал. Потом, исправляя неловкость, произнёс:

— А я ваш новый роман прочитал. Только на прошлой неделе закончил.

— Вот как?

Это меняло дело. Бусыгин думал, что этот суетливый коротышка помнит его по ранним книгам, а, оказывается, перед ним стоял первый читатель его главного романа.

Дмитрий Трибушный

Костры, невидимые миру

* * *

Что человечит человек?
Что человечит человека?
Куда-то шёл печальный снег
Из девятнадцатого века.

Толпились улицы, сады,
И думал путник одинокий:
«Как будто Божии Суды
Случились с нами раньше срока».

Все собираются и ждут
Предела, выверенности, края.
Я был в гостях, я нёс уют,
Прощальный свет другого рая.

Что человечит человек?
Я, как и все, спешил к ответу
Сквозь утренних равнин разбег,
Другой внутри другого света.

* * *

Не быть, но несомненно сбыться.
Оставить даром небо птицам.
Землёй надёжно укрыться,
Как первозданной тишиной,
И всё оставшееся время
Внутри, наедине со всеми,
Смотреть, как прорастает семя,
Зачем-то названное мной.

Трибушный Дмитрий Олегович — священник, поэт. Родился в 1975 году в Донецке. В 1997 году окончил филологический факультет Донецкого национального университета, в 2002 году — Одесскую духовную семинарию. Автор шести книг стихов, в том числе «В пространстве, предназначенном для рая» (Донецк, 2023) и многочисленных исследований, посвящённых богословию, религиозной философии, истории старчества. Живёт в Донецке.

* * *

Схиархимандриту Гавриилу (Стародубу)

Переплелись дороги узкие,
И все ведут к иному Риму.
Хвалю вас, стихотворцы русские,
Костры, невидимые миру.

У нас морока, околесица,
Распутица и раздорожье,
А вы наверх по горней лестнице
Взбираетесь неосторожно.

И мы, пожалуй успокоимся,
И всё Создателем простится,
А вас и там запишут в воинство,
Святой Руси святые птицы.

Донецкий Псалтырь *Псалом 1*

Боже Авраама Исаака Иакова
Господи Гомера Данте и Маркеса
Отверзающий уста рабу Своему Рильке
Вслушивающийся в тревожные медитации Малера
Умирающий ныне на бульваре Пушкина
Закрывающий Собою мишени на бульваре Шевченко
Огради улицы Шекспира и Гейне
От снарядов изготовленных в Германии и Чехии

Псалом 2

Боже Авраама Исаака Иакова
Сосчитавший звёзды волны
И дни нашего жертвоприношения
Воскреси Господи раба Твоего Пифагора
Воздвигни из праха ученика Твоего Гильберта
Посвяти тех кто собирается стать совестью нации
В Твою священную нумерологию
Объясни неофитам что восемь знак бесконечности
Бесконечной совести распятой в четырнадцатом
А не с опозданием на восемь лет

* * *

Кто-то же должен
Принять эту тьму и тяжесть.
И Господь приходит за надеждой
К Иову:
«Может быть, ты
Не потребуешь объяснений,
Не будешь задавать вопросы,
Принимая эту тьму и тяжесть —
Мою любовь?»

Денис Колчин

Позвоните майору Кебедову

Рассказ

1

Степь здесь сухая, вся в солончаках. Сушь и пыль, сквозь которые пробивается редкая трава, тянутся на восток, до самого синего моря. Только в стороне, в пойме Терека, покрытой сетками каналов и усеянной прудами, по глазам лупит буйство зелени — садов, пастбищ и огородов, окружающих многочисленные посёлки, выросшие на местах кутанных хозяйств. В старину горцы арендовали там у кумыков земли для летнего выпаса скота, возводя пастушьи временки. Из тех временок и родились новые, нигде не учтённые аулы.

С юга на север край рассекает дорога. Она стартует свороткой с федеральной трассы около Хасавюрта, ползёт мимо Бабаюрта и исчезает далеко-далеко в тростниковых низменностях. Параллельно, иногда почти прижимаясь к ней, стучит железка. Её проложили в 1941—1942-м для отправки горючего из Баку в Астрахань и далее вверх по Волге, в обход захваченного немцами Ростова-на-Дону. Немцев давным-давно разбили. Война завершилась, потом заявила другая — тягомотная, непонятная, похожая на каспийский ветер: резкий, надоедливый и очень холодный.

Уцепившись за трассу и железку, на берегу Терека торчит городок под названием Кизляр. В переводе с тюркского сие означает «красный обрыв». Кизлярка — так именовалась мелкая речка, впадающая в Терек. В честь неё прозвали основанную рядом крепость. Постепенно кизлярский посад расширялся, саму крепость упразднили, и в начале XXI столетия город представлял собой типичный постсоветский предкавказский урбанистический ландшафт: слои частного сектора, обступающего кварталы измученных жизнью панелек, раскиданных на подступах к историческому центру с парком, церковью, мечетями, музеем казачества и татарской слободой.

Чуть западнее, за шоссе, продолжалась волнистая, выбеленная солнцем степь. Она длилась до горизонта, обширная и пустая, днём иногда посещаемая овечьими отарами. А ночью — маленькими ватагами лихих людей на старых легковушках.

Колчин Денис Сергеевич — поэт, журналист. Родился в 1984 году в Свердловске. Окончил журфак УрГУ. Работал военным корреспондентом в Крыму, Дагестане, Карабахе и на Донбассе. Автор книг стихов: «Подготовительный курс» (Екатеринбург, 2017), «Фронтир» (Екатеринбург, 2021) и нескольких книг прозы в жанре нон-фикшн. Печатался в журналах «Урал», «Звезда», «Знамя» и др. Живёт в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

На заре второй, нудной, войны подобных ватаг было много. За ними в степь устремлялись группы спецназа и «вертушки». Шёл забой непримиримых. Когда накал страстей снизился, война изменилась, спрятавшись в пойме Терека, в бывших станицах и крепостях, в Кизляре. А степь осталась огромным безмолвным пространством, нависающим над судьбами обитающих вдоль её нечётких границ.

2

После Крыма я четыре года периодически — за свой счёт, находясь в отпуске, — ездил в Дагестан военкором. Писал про теракты, спецоперации, зачистки. Про «эскадроны смерти», состоявшие из сотрудников силовых ведомств. Они похищали подозреваемых в причастности к подполью, пытали и отправляли на зону или в расход, выдавая за убитых в перестрелках боевиков. Это был один сплошной кошмар, но так вершилась история. И потому я отдавал предпочтение кошмару. Впрочем, рано или поздно наступало время полёта домой, на Урал, к скучной, рутинной офисной работе.

Помню, очередная летняя спецуха отгремела на окраине Каспийска. В частном секторе, на улице Алиева, менты заблокировали коттедж. Внутри сидели двое моджахедов с жёнами и детьми. Взрослые сдаваться отказывались. Тогда туда привезли родителей джихадистов. Старики уговорили сыновей отпустить девушек и малышей. Как только ухищеры с мелкими выбежали за ворота, их горе-мужья сыпанули по ментам свинцом и очень быстро дом превратился в густой, заметный издали костёр. Зафиксировав произошедшее в блокноте, я отчалил в Махачкалу, где жил в гостинице, и вечером встретился с местным правозащитником Сиражуддином, знакомцем моего приятеля Ершакова.

В модной кафешке напротив отеля было многолюдно. Молодая смеющаяся публика распивала разные виды кофе и чая, сметая круассаны, булочки, блинчики с джемом и чудушки с маслом и сыром. Сиражуддин, повесив синий пиджак на спинку стула, рассказывал о текущей работе: о сопровождении уголовных процессов по делам о терроризме, юридических баталиях с прокуратурой, бумажной волоките в ГУФСИН, ленивых следователях и запуганных родственниках обвиняемых.

Я спросил, что именно он мог бы выделить из доступного массива историй. Мой собеседник призадумался. Город медленно проглатывала тьма, и по проспекту неслись красные и оранжевые колесницы, сотканые лучами света автомобильных фар. Наконец, Сиражуддин очнулся и посоветовал обратить внимание на Кизлярский район.

3

Война протекла туда лет пятнадцать назад. Когда империя обрушилась на раздражавшую её своими набегам Ичкерия, несколько десятков здешних уроженцев из числа чеченцев, ногайцев и кумыков по-тихому собрали вещички и «откочевали» за Терек. Уходили ночами, чтобы никто не заметил. Но все соседи знали. И молчали. Возвращаться начали через полгода-год. Половина легла в землю, а остальные либо затаились в степях и поймах вдоль реки, иногда нападая на тыловые колонны, либо, так же по-тихому, огородами, пробрались домой и не высовывали носа.

Федералы перво-наперво взяли за тех, кто партизанил. Степи и поймы наполнились раскатами взрывов и стрёкотом перестрелок. Постепенно гром стихал, молнии исчезали и новостные сводки пучило от снимков обгоревших автомобилей

и автоматов, камуфлированных бородатых мертвецов с брошками и ожерельями из мух на свежих ранах. Разумеется, этим не ограничилось. Распутывая клубки теневых социальных сетей, спецы из «конторы» всё чаще интересовались районом. Их страшному любопытству не было предела. Родственники, друзья, да те же соседи... Бесчувственная машина познания молола всех, сортируя, как говорилось выше, своих жертв по могилам и колониям. И тогда возникла ответка. Не казавшие носа откопали стволы, сговорились, позвали кое-кого из двоюродных-троюродных братьев и одноклассников и огрызнулись.

Так появился подпольный джамаат. Они отслеживали милиционеров и чиновников и убивали их. Чаще, конечно, милиционеров. Чиновникам присылали флешки с требованием поделиться доходами — «на джихад». Те, как правило, делились. Несогласных чуть позже находили расстрелянными во дворах и подъездах или тлеющими в почерневших остовах собственных машин. Данное правило относилось и к бизнесменам, довольно быстро разобравшимся, что к чему.

В тамошнем РОВД от всего этого охренели. Особенно от резко возросшего уровня потерь. Очухавшись, попытались отыгаться: шерстили адреса, устраивали засады, прессовали знакомых и родню боевиков. Иногда даже получалось завалить или задержать кого-то из джихадистов. Впрочем, впечатляющего эффекта не наблюдалось. Общий счёт сохранялся прежний — в пользу джамаатовских. За каждого «двухсотого» они забирали жизни двух или трёх патрульных, постовых или участковых на окраине города или в каком-нибудь ближайшем селе.

Тогда за район решили взяться всерьёз. Во-первых, возле города поставили базу внутренних войск (ВВ). Вэвэшники, имея возможность привлечь авиацию и артиллерию, с энтузиазмом принялись за дело. Просторы усеяли блокпосты, по дорогам мотались колонны, а между сёлами, по лесополосам и буеракам, разведгруппы в поисках замаскированных блиндажей и лагерей. Порой рейдовые команды натывались на боёвки моджахедов — крошили друг друга в упор, а потом вызывали «огня», и обозначенную координатами точку перепахивали НУРСы, мины и снаряды.

Во-вторых, к теме вновь, на сей раз более плотно, подключилась «контора». Её оперативники набрали сотрудников из районного центра противодействия экстремизму и предприняли определённые движения. Буквально среди бела дня стали пропадать те, кто был связан с моджахедами узами крови или дружбы. Случалось, пропадали по два-три человека за раз. Случалось, вслед за пропажей кого-либо спецназ внезапно, и не беря пленных, заходил на адреса, где укрывались целые группы подпольщиков с жёнами. Но чаще исчезнувшие просто пополняли графу с пометкой «ушёл и не вернулся». Что могли в этих условиях предпринять загнанные в угол обстоятельствами и собственным поведением мужчины, в мирное время жившие между мечетью и спортзалом, а затем, в силу различных причин угодившие в трясины войны? Только одно — применить оружие массового поражения.

Но поначалу не срослось. В городе, на пустыре, в специальных вагончиках жили командированные ставропольские омовцы. К ним отправили потерявшего братьев тридцатилетнего парня, увешанного взрывчаткой. По какой-то причине детонирующий механизм сработал раньше времени, и несчастного разорвало в ста метрах от цели. В следующий подход подготовились лучше. К дежурившему на дороге экипажу ДПС подъехало заминированное авто и взорвалось. Погибли двое правоохранителей и проходящая. На месте стала собираться толпа, прибыл глава РОВД. В какой-то момент из соседнего переулка вышел дядька, одетый в милицмейскую форму, и подорвал себя. Поражающими элементами — гайками, болтами, обрезками арматуры — скосило пару зевак и семерых стражей порядка, в том числе — упомянутого начальника райотдела.

И затем гремело без остановки. Крупная спецоперация — в качестве реакции атака смертника. Следующая крупная спецоперация — опять атака смертника. В «конторе» и МВД крепко задумались. Надо было отыскать некое филигранное средство, которое позволило бы радикально изменить баланс на поле боя, заваленном трупами. И такое средство нашлось.

4

Шамилю было около двадцати пяти. Невысокий, худощавый. Стандартный. Весной, или летом, или ранней осенью в Махачкале, ближе к вечеру, выйдите в городской сад или на бульвар Стальского, или на Родопский бульвар. Там таких много. Сидят на скамейках компашками, обсуждают поединки борцов, авто, работу. Свои мужские дела, короче говоря.

Яркие цвета не любил. Предпочитал джинсы с кедами или кроссовками и футболки с толстовками. Лучше серые или тёмно-синие. А толстовки — непременно с капюшоном. И без принтов желательно. Нечего в глаза бросаться. На зиму вытаскивал чёрную короткую, как раз по фигуре, дублёнку. Она не сковывала движений, удобная на улице и в машине.

Конечно, учился. В электромеханическом колледже, на автомеханика. Оплачивали родители. По утрам ходил на пары. Потом в качалку возле дома. Его бывший одноклассник, профессиональный кикбоксер, арендовал и привёл в порядок подвал и собрал знакомых ребят заниматься. Разумеется, не бесплатно. Давал им простейшие приёмы. Но тренировались не как специалисты, а больше для поддержания формы и настроения. В драке все эти хуки и апперкоты вряд лигодились бы, но для молодцеватого вида — самое то.

Впрочем, в плане оплаты колледжа он тоже старался. Подрабатывал на рынках и стройках, устроился в школу ночным сторожем. Затем приняли в автомастерскую. Неплохо зарекомендовал себя и уже не прыгал с места на место в поисках копейного вознаграждения. Правда, из школы не сразу уволился. Какое-то время ещё ходил туда для подстраховки — мало ли в мастерской не заладится. Но, слава Аллаху, проблем не возникло.

По пятницам посещал мечеть. Хотел жениться — ему нравилась одна соседская девушка, — но денег на приличный калым не имелось. Накопить не получалось. Заработанное уходило на еду и ежедневные нужды. Любил автомобили. Думал взять в кредит, например, подержанный Volkswagen или Hyundai. Но куда там...

Одним словом, плыл по течению. О причинах особо не задумывался, наперёд не планировал. Внешние обстоятельства оставались фоном, на который он практически не обращал внимания. А зря. Эти обстоятельства в итоге сыграли с ним злую шутку, поломавшую его маленькую, затерянную на степной окраине, жизнь.

5

В нём журчало множество кровяных ручейков. Прапрадед по отцу в начале XX века оставил родной аварский аул и в поисках работы приехал в Кизляр. Здесь и обосновался. Трудился пастухом и перегонщиком скота. В Гражданскую дрался за красных, а в конце 1930-х встал к стенке. Сын его чинил башмаки, потом разный сельскохозяйственный и домашний инструмент. Войну прошёл в инженерном подразделении. Прошёл еле-еле, надорвал здоровье и долго-долго мучительно умирал.

Максим Гуреев

Платформа Пионерская

Повесть

1

Всегда приезжала на первой пятичасовой электричке в последнем вагоне, потому что отсюда, с края платформы, было ближе всего идти к детскому санаторию.

В вагоне ещё хоть как-никак таилось тепло, хлопья инея на окнах здесь свисали седой щетиной, а печка грохотала на стыках оторванным люком регулятора мощности, но когда выходила из тамбура на улицу, то на какое-то мгновение деревенела совершенно, почти теряла сознание, жмурилась в непроглядной ледяной мгле, сипела, а круглая, как точильный камень луна, тут же заглядывала в открытый рот, вращаясь, чтобы начать шлифовать заледеневшие зубы с характерным отупляющим звуком.

Боже, и так ничего не чувствовала, и так была почти не в живых, а тут ещё этот звук, застревающий в голове, выворачивающий душу наизнанку.

Ёжилась эта душа, трепетала, не находила себе места на пронизывающем ветру, роптала на непроглядную темень.

А двери вагона меж тем автоматически закрывались за спиной, и электричка трогалась, и она тоже, едва шевеля окоченевшими ногами, трогалась с места.

Закрывала открытый рот рукавицей.

Прятала тем самым вход в нору.

Луна, впрочем, не отставала — катилась по рельсам, имевшим загробный кобальтовый оттенок, цеплялась за высаженные вдоль полотна чёрные, словно вырубленные из базальта, ели, вращалась и высекала из окаменевших сугробов искры, освещала своим немигающим светом снежную долину, не было которой конца и края.

— Вот доберусь до кухни и сразу отогреюсь, — производила только ей самой ведомые звуки, бормотала под спудом рукавицы, но губы-то толком не слушались,

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссёр документального кино, снял более семидесяти лент. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Автор множества книг, в том числе «Сергей Довлатов. Остановка на местности» (2020), «Фаина Раневская. История, рассказанная в антракте» (2022), «Чудесный отец» (2022), «Андрей Битов» (Серия ЖЗЛ, 2023), «Даниил Хармс. Застрявший в небесах» (2023). Дважды лауреат премии «ДН». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в журнале — 2023, № 11.

кривились, да и нижняя челюсть обездвижела совсем. Жуткое, наверное, зрелище со стороны.

Одно время у них на Рабочем посёлке в соседней комнате жил такой человек, который не мог говорить, потому что у него была неподвижная нижняя челюсть, он только мычал на разные лады и тряс подбородком.

Мать запрещала настрого:

— Саша — инвалид детства, не вздумай над ним смеяться!

И она старалась не смеяться над ним, хотя все дворовые издевались, конечно, передразнивали его, кривлялись.

Скривилась тропинка от платформы между деревьев и вывела на улицу Санаторную.

Тут-то почти и побежала по хрустящей дороге.

Ноги не слушались, но так как улица уходила вниз в сторону леса, то получалось само собой бежать под уклон.

Ветер кружил юлой.

Вдыхала стужу и выдыхала густой пар.

Платок и брови зарастали инеем.

А вот теперь луна уже пряталась за сугробами, пробиралась, как хищный зверь, таила своё коварное естество и по-прежнему пыталась заглянуть в лицо своей жертве, но скрип точильного камня уже не казался таким невыносимым. Скорее, напоминал назойливое дребезжание станка точильщика-татарина, что всегда стоял рядом с входом на рынок и гундосил: «Ножи точу, ножи точу».

— Не страшно, совсем не страшно, — улынулась в горячее, парное подземелье рукавицы.

Бывали, конечно, случаи, когда луна накидывалась на свою жертву, что замешкалась, стала любопытничать и пялиться по сторонам, и отпиливала ей голову, которая потом ещё долго с дребезжанием пустой консервной банки катилась по откосу, превращаясь в снежный ком, а затем и вмерзала в придорожный сугроб.

Хрустел не только снег под ногами.

Хрустели ещё и деревья в лесу, когда от мороза отслаивалась кора, надувалась волдырями и гулко лопалась.

Скрипели деревянные заборы, вытягивались в струну, затем проседали в изнеможении, почти падали на снег в обмороке, но потом снова оживали и каменели, ошестинившись гвоздями.

Она оглянулась — тень от ближайшего фонаря вытянулась и замерла в утренней морозной пустоте.

Сделала шаг, и тень сделала шаг.

Вот так часто бывало, когда шла навстречу свету и посматривала через плечо назад, как бы за собой со стороны подглядывала — могла опережать сама себя, могла запаздывать, могла нависать сама над собой, тогда, впрочем, и вздрагивала, потому что это происходило внезапно, но столь же внезапно и пропадало. А придя домой, подходила к шкафу и смотрела на своё отражение, зажатое между двух створок с потрескавшейся лакировкой. В это зеркало со следами отслоившейся амальгамы по краям смотрелись ещё её бабушка, потом её мать, вот теперь и она смотрится и не понимает, как себя надо правильно увидеть в нём, потому что то, что она видела сейчас, казалось ей каким-то чужим и абсолютно неправильным. Зачем-то открывала, потом закрывала створки шкафа, зажимала сама себя ими, оказываясь таким образом то в заросшем кусками грязного льда переходе из одного вагона электрички в другой,

то посреди комнаты в коммунальной квартире, где за одной стеной всегда орали соседи, потому что они не умели говорить, а умели только орать.

У них всегда такие открытые рты.

Пасти.

А за другой стеной жил Саша, тот самый, который не умел ни орать, ни говорить, а только мычал на разные лады, и над ним нельзя было смеяться, потому как он был инвалидом...

Наконец уличный фонарь оказался за спиной, и по мере того, как она уходила от него, её тень всё более и более удлинялась, заострялась, пока не упиралась в железные ворота детского санатория.

Втыкалась в них!

До хозблока тут уже почти доползла на четвереньках, толкнула плечом дверь, ввалилась в предбанник, где в темноте опрокинула ведро с углём, и оно покатилося, оставляя за собой вихляющий, змеевидный след.

Словно полоз здесь ползал, змей змеился, догонял-догонял да не догнал.

На шум тут же прибежал сторож, он-то и дотащил её до печной комнаты, где она так и осталась лежать на деревянном полу рядом с топкой.

А ведь привыкла же подобным образом цепенеть на полу, завернувшись в пальто или в одеяло, поджав ноги, стуча зубами, а затем переставая ими стучать.

Это случалось всякий раз, когда к ним на Рабочий посёлок приезжали родственники из Воронежа. Сестру матери вдвоём с глухонемой, страдавшей какой-то нервной болезнью взрослой дочерью укладывали на её кровать, и они лежали на ней, как в утробе, сцепившись. Мужа сестры укладывали в коридоре на скамейке, а ей доставалось место на полу у двери.

Ноги забирались под шкаф и там упирались в гантели, оставшиеся ещё от деда.

Голова каталась по полу.

Вот и сейчас лежала в печной комнате на полу и смотрела снизу вверх на тёплую, словно вылепленную из теста, голландку, на мечущиеся по стенам и потолку сполохи, что пробивались сквозь щели от неплотно прилегавшей к створу топки чугунной дверцы.

Вспыхивали, гасли, снова вспыхивали и снова гасли.

Она уже могла шевелить пальцами на ногах, и холод постепенно уходил, придавливая сном, уступая место смертельной усталости, наваливающейся на плечи и глаза, туманящей сознание, в которое входило далёкое и одновременно близкое, разборчивое и в то же время невнятное бормотание сторожа, сидевшего в глубине комнаты у стола и разбиравшего найденный в сарае сломанный радиоприёмник.

По передающему устройству сообщали, что вчера ночью на платформе Перхушково насмерть замёрз участковый Василий Переверзин, ещё передавали, что, работая в бойлерной детского санатория, сторож Максим Старовойтов разбил себе о трубу голову, но ему вовремя была оказана медицинская помощь, и теперь он продолжает свою работу, а в конце сводки новостей сообщали, что сильные морозы продолжатся ещё неделю и есть вероятность отключения электричества.

Открыла глаза — нет, ничего такого слышать она по радиоприёмнику не могла, конечно, просто потому что он был сломан, и внутри у него не горела красная лампочка, как это всегда должно быть у работающих передающих устройств.

Это просто сторож с забинтованной головой не умолкал:

— Вот почино радио, будем новости слушать и музыку. Я в молодости очень, знаешь ли, любил танцевать. На танцы ходил. Другое дело, что не танцевал давно, наверно, и разучился совсем, но слушать музыку всё равно люблю.

— А что это у тебя с головой, Максим Максимыч?

— Да я уж говорил, пошёл вчера в бойлерную, там лампочка перегорела, и в темноте о трубу со всего маху ударился. Приложился, так сказать, аж искры из глаз посыпались. Думал, убился. Слава Богу, Софья Самойловна дежурила, рану обработала, забинтовала. Вот теперь как героический красный партизан хожу, — подбоченился при этих словах Старовойтов.

Наконец она поднялась с пола, сняла пальто, отряхнула его, повесила рядом с дверью, намотала платок вокруг шеи.

В детский санаторий на кухню она пришла работать три года назад.

Работа через день.

Со сменщицей Зориной повезло — не скандальная, отзывчивая, ну и опытная, конечно. Она работала здесь с самого открытия санатория в конце тридцатых. Тогда-то, кстати, платформу 29-й километр и переименовали в Пионерскую. Зорина рассказывала, что раньше летом на платформе перед началом сезона развешивали красные флажки и вырезанные из картона горны. Так как они висели до осени, то выгорали на солнце совершенно, выцветали, под дождём вздувались, но приподнятое настроение детям всё равно создавали, особенно когда раскачивались на ветру, словно на борту военного корабля какого: крейсера, эсминца ли. Да и железнодорожная платформа превращалась в палубу, и все ходили по ней, держась друг за друга, провожали пронсящие мимо поезда дальнего следования, махали им руками, улыбались.

После войны, когда вернулись из эвакуации, санаторий стал работать круглый год, тут построили новый корпус, новую кухню и провели паровое отопление.

А муж Зориной погиб осенью сорок первого года, попав в окружение под Вязьмой. Она узнала об этом только два года спустя и, по её словам, на какое-то время лишилась рассудка, сошла с ума то есть.

Говорила, смотря в одну точку: «Получается, что, всё это время я писала письма человеку, которого давно не было в живых. Они куда-то уходили, эти письма, их кто-то читал, или не читал, и их сразу выбрасывали на помойку, или просто выкидывали на обочину в грязь, в снег, чёрт знает куда, или сжигали. А я всё писала, рассказывала, как работаю на кухне, какие у нас в санатории хорошие детки, ждала ответа, конечно. Письма не приходили и не приходили, но я думала, что ему просто некогда писать, а его не было в живых, его просто не существовало на свете. Я ведь даже не знаю, как он погиб, — сразу или умирал долго и мучительно, где похоронен, если похоронен вообще, и теперь уже никогда не узнаю. И вот когда я всё это осознала, несколько дней у меня на это ушло, на осознание, то пришла в общежитие, села на кровать и стала все эти письма за три с половиной месяца одно за одним вслух пересказывать, я ж их все наизусть знала. Просто подумала, что если прочитать на бумаге их ему уже не суждено, то где-то там, где он сейчас, он их сможет услышать, наверное, ему будет интересно, ну и чтобы не подумал, что я о нём забыла. Я не забыла, я ничего не забыла! Где-то сутки вот так говорила, не ела ничего, не пила, а только говорила, письма эти пересказывала, не могла остановиться. Потом вызвали врача, конечно, он меня в чувство привёл, на три дня от работы освобождение дал, потому что я охрипла совсем и у меня распух язык. Вскоре всё прошло, разумеется, но с тех пор ни читать, ни писать я больше не могу. Страшные эти буквы ведь, страшные! Бегут куда-то, меняются местами, строчки проволокой, верёвкой ли переплетаются, меняют цвет — это так во сне бывает, — не разобрать ничегошеньки. С тех пор ни одной книги не открыла, ни одной газеты не прочитала.

Меня спрашивают: «Зорина, ты что, читать не умеешь, что ли, вроде безграмотность давно победили?» А я отвечаю: «Да, не умею». Только и разводят руками в ответ, дураки...»

Вот такая сменщица, вот такая Зорина, а ещё у неё красивые большие карие глаза, но почему-то казалось, что в них лучше не заглядывать. Вот и старалась не глядеть на неё, особенно когда она оказывалась рядом, мазала взглядом, отводила глаза, всё больше на руки её смотрела, на волосы, на чёботы, в которых Зорина топталась у плиты...

Теперь смотрит на часы — «шесть утра» указуют они.

Надо идти открывать кухню.

У них дома на Рабочем посёлке точно такие же часы висели, их матери на день рождения когда-то подарили.

Взбиралась на стул, открывала стеклянную дверцу, заводила ключом механизм и закрывала дверцу, успевая при этом разглядеть в ней отражение комнаты, цветов на подоконнике и своё собственное отражение.

Так как в эту минуту не знала, куда ей смотреть, то и выходила в этом нечаянном проблеске какой-то естественной, беспомощной, живой, наверно, такой, какой её видели со стороны — соседи по коммуналке, точильщик ножей у рынка, который «ножи точу, ножи точу», пассажиры в электричке, Максим Максимыч, Зорина или главврач санатория Санджар Эминович Мамедов, к ней всегда обращающийся на «вы» и по имени-отчеству — Татьяна Александровна.

Так вот как её, оказывается, звали — Таней.

Это она специально не называла своё имя при полной луне, чтобы та не украла его и не подменила другим, лжеименем, Ольгой, например, Ларисой или Ириной.

Тане ещё в детстве бабушка рассказывала, что своё имя следует беречь от полной луны, зарослей папоротника в дремучем лесу, воя собак, человека без рук и прокисшего молока, потому что у них есть сила менять имена, особенно когда человек оказывается в забытии или беспомыслии, когда у него закатываются глаза и сам собой открывается рот.

Кстати, имя могло вытечь вместе со слюной на подушку или на воротник и засохнуть!

Вот потому и шурилась сегодня с утра на морозе, потому и закрывала одеревеневшей рукавицей рот, чтобы в него не забрался круглый точильный камень и не отпилит голову вместе с именем, потому что имя в голове содержится.

Выключался, дребезжа, точильный станок.

Ухнул и выключился окончательно.

Вспыхнул свет на кухне, и блёклое рассветное свечение с улицы слилось с резкой электрической вспышкой, растворяясь в ней, и полностью поглотилось запотевшими стёклами. Белые эмалированные плиты-печки, которые в конце своей смены Зорина намывала до блеска, сияли буквально до рези в глазах, как в операционной, водили хоровод на кафельном полу, крепко сцепившись медными поручнями, не отпускали друг друга далеко по привычке, а в воздуховодах возникал и неотвратимо нарастал гул тяги поджига, — это начинался прогрев конфорок.

Кухня наполнялась звуками: шелестом накрахмаленного белья, гудением вентилятора в хлебном боксе, барабанной дробью воды в рукомойнике, воем пламени во всех четырёх топках, как в четырёх разгонных блоках ракеты-носителя, которая выводила на орбиту первый искусственный спутник земли; воображаемыми командами также наполнялась:

- «минутная готовность»,
- «ключ на старт»,
- «протяжка — 1»,
- «продувка»,
- «протяжка — 2»,
- «земля-борт»,
- «пуск».

— Ну, слава Богу, мы эти команды наизусть знаем, — Максим Максимыч стоял в дверях кухни с ведром, доверху набитым мелко наколотой щепой. — Я запуск первого искусственного спутника земли по радио слушал. «Земля-борт», «пуск», и всё загрохотало, как при землетрясении, это значит, что полетела ракета, а потом из космоса стали приходить сигналы, словно металлическая струна на разные лады пела. У нас под Магдагачи в отряде был один китаец Коля, так вот он как раз на таком инструменте играл, эрху называется. Только прикасался смычком — и звук появлялся такой протяжный, жалобный, нечеловеческий, словно издалека откуда-то приходил, теперь-то понимаю, что он из космоса приходил. Не по себе становилось, если честно. Куда ведро ставить?

— Да вот сюда и ставь.

Ставил.

Входил в свет висящей под потолком лампочки Максим Максимыч Старовойтов.

Был он родом из Хабаровска, из семьи известного в городе жестянщика Максима Евфимиевича Старовойтова. Сначала учился в Алексеевском городском училище, потом перешёл в гимназию, но вскоре бросил её, так как началась революция и стало не до учебы, отец же к тому времени разорился, жить было не на что, и вот по воле случая оказался в партизанах, в одном отряде с Сашей Фадеевым, который тогда ещё никаким писателем не был. Однажды у станции Ушумун они попали в засаду. Старовойтова ранило, так вот Саня его на себе почти сутки в отряд нёс. А Коля-китаец тогда погиб.

Звуки первого искусственного спутника земли летят через стратосферу...

— Ни разу с тех пор, как Колю убило, эрху не слышал. — Ещё какое-то время Максим Максимыч топчется в дверях, а потом садится на табуретку. — Тань, а ты слышала?

— Нет, Максим Максимыч, не слышала. Где ж мне такой диковинный инструмент услышать? Вот у нас на Рабочем посёлке на первом этаже татары живут, каждый день их гармонику слышу.

— Не, это не то, — Старовойтов трогает повязку на голове.

— Болит?

— Нет, не болит. Хорошая женщина Софья Самойловна, всё сделала, как надо.

— У неё сын в Москве учится на инженера.

— Знаю, а мужа её по «делу врачей» арестовали, он во время предварительного следствия в изоляторе умер, это она мне сама сказала. Потом реабилитировали, конечно. А что с того, человека-то не вернёшь...

Таня проверяет огонь, двигает кастрюли по чугунным направляющим, как вагонетки с породой, они скрежещут, гудят, ударяются друг о друга, переставляет их сосредоточенно по кругу, возвращает на исходную, мешает огромным, как совковая лопата, половником ожившее царство, которое ещё совсем недавно казалось мёртвым.

Много думала в последнее время о том, что прошедшее нельзя вернуть, что всё, что было, таким и останется навсегда, а то, что произойдёт, должно произойти.

Иван Волосюк

Губительные дни

1

В моём взросленье не было кириллиц,
стремящихся к округлости глаголиц.
Я пил из чашки, на меня молились,
я рассуждал в уме: «Смешной народец»,

ценители искусств, миллениалы,
закрылись синтетической печалью.
Какие рты им всем намалевали:
у женщин, как сургучные печати,

у юношей, как бронзовые плашки.
Их треники, надетые на рейвы,
их пёстрые гавайские рубашки
вокруг меня толпились, как деревья.

Но это сад, где каждый плод запрещен,
где чёрточки на глиняных дощечках,
я, принуждённый к разговорной речи,
считал узором, но любил до смерти.

2

Я думал: вавилонцы и шумеры
не жили впрок, из звёзд слагая сонмы,
а просто так рыдали и шумели,
помыслив, что дракон сжирает солнце.

И кто-то праздный на пещерных сводах
нам вывел сцену праведной охоты,
не будущего ради — и свободы,
а оттого, что уголь был и охра.

Волосюк Иван Иванович — поэт, переводчик, литературный обозреватель. Родился в 1983 году в городе Дзержинске Донецкой области в семье шахтёра. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Юность» и др. Живёт в Подмосковье.

Он претерпел и голод, и болезни,
но не был красотой звероуловлен.
Он пел свои сновидческие песни
на языке святилищ и жаровен.

3

Цветущий тополь на непрочных ветках
развешивал тряпье.
Олень со страхом видит человека,
несущего копье.

В строенье тела линии разрыва,
а кровь пьянит врага,
и кажется, что смерть ещё утяжелила
могучие рога.

А в миг, когда внутри погас огонь псалтири,
зверь падает на бок,
как чёрная фигурка в тире,
весь мир вобрав в расширенный зрачок.

4

Овидий, скорбь твоя не подобает месту,
сарматы наизусть твои учили песни,
раз не было письма,

и уходили вверх до озера Меотов —
там тысячу смертей сыграла, как по нотам,
неспешная война.

Я докопаться мог до кладов и кореньев,
когда б на пласт травы упал мой соплеменник,
примяв чабрец и лён,

и улыбнулся мне застывшими устами,
а я б его зарыл по вечному уставу
в горячий чернозём.

Какой унылый год — тягучий, одичалый,
две тысячи какой — я сам не различаю,
что август, что февраль.

Но бедный мой сосед не справится с позором,
зарубки на столбе оставит робинзонам
и купит календарь.

Я всё тебе открыл, от альфы до омеги,
что телом стал ленив и молча лёг на снега
для ясности в мозгу.

Что двери запирал, завесил окна в доме,
но спасся от чумы, укрылся при погроме
и вот теперь жи-ву.

И весь я — не умру.

5

«Ты говорил сквозь сон, я думала, что бредишь», —
сказала мать ему.

«Дай, Господи, — просил, — пустых бомбоубежищ
народу моему.

А если хочешь, то пройди по белу свету
и всех освободи».

Двуперстием достал из пачки сигарету,
кивнул мне: «Подкури».

И я спросил: «Отец, давай вот здесь икону
повесим на стене».

А он в ответ: «Прости, я ничего не помню,
что делаю во сне».

6

«Трансцендентальный» — допустимый мат
в Артёмовске, а нас везут к финалу.

И в этот раз, не то, что год назад, —
я в чистой куртке, трезвый, без фингала.

Методіа... Проклятая латынь,
твоих надгробий чёрные перфекты
я принимал, как образы руин,
как страшные тяжёлые таблетки.

Я ждал, когда в губительные дни
росток пробьётся новой Иггдрасили
из пепельной и угольной земли
на стыке не России и России.

Когда в меня стреляли наугад,
я соглашался, в общем, добровольно
расстаться с телом, взятым напрокат,
но так, чтоб сразу: быстро и не больно.

Сергей Прудников

Искупление

Рассказ

Боль была невыносимой.

Кажется, Полина никогда не испытывала такой боли.

Может, что-то похожее чувствуют женщины при родах? Но итогом родовых мучений становится новая жизнь, а здесь — смерть, каждый час, каждую минуту.

Нечто подобное являлось ей в ночных безумных кошмарах. Но и там имелся свет — пробуждение. А здесь — без света. Погасили свет. «Прижмурили» — приходило в голову ей тупое, и роилось потом долго: «Одни жмуры, одни жмуры!» Каких жмуров представляла она? С синими телами, с вываленными языками, с ярко-красными потрохами.

В детстве, классе в шестом, они с девчонками встретили в парке рядом с домом большого страшного мужика с бородой. Мужик распахнул полы пальто, и то, что они увидели — уродливое, противоестественное, — напугало её до остолбенения. Но и тогда имелся выход — возможность убежать.

Некоторые из её знакомых убежали — в Европу, Грузию, Казахстан. Бывшая коллега улетела с концом Сергей Прудников. Искупление в Канаду. Одна семья — в Новую Зеландию.

Она тоже подумывала о Европе, а конкретно об Австрии, где жили её друзья, догадавшиеся перебраться туда ещё два года назад. Но наступит ли спасение с переездом? — сомневалась она. Не придётся ли и там бормотать утомительное — «одни жмуры, одни жмуры», испытывая новые терзания от непосредственного соседства с теми, кто вынужден искать убежища после того, что развязала её страна?

Накануне их музей собирался с выставкой в Эстонию, — куратором была как раз Полина. Но грянул гром, и проект притормозился. А потом заглох, кажется, — навсегда. По крайней мере, она не представляла, что должно случиться, чтобы Таллинская галерея вновь открыла для них двери. «Как одной краской помазали», — думала она. Точнее, измазали. Да и краской ли? Уж лучше бы приняли. И — допускала она крамольную мысль — конфисковали всё! Примите, заберите, не жаль. Хотите, — сами останемся как добровольные заложники. Есть вещи более высокого порядка.

Сергей Прудников — журналист. Родился в 1982 году в Кызыле (Тува). Окончил исторический факультет Красноярского педагогического университета. Печатался в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Юность». Живёт в Донецке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 9.

Она обсуждала происходящее с Жанной, читала посты в соцсетях, листала новости в телеграм-каналах, темнела на глазах и худела, не спала, восторгалась акциями гражданского мужества единичных героев, сжимала зубы, плакала, сидела без сил, лежала без сил, жила без сил, разругалась окончательно с отцом. И всё время задавала один и тот же вопрос: «А что могу сделать я?» Она догадывалась, что может сделать что-то. Час испытаний пробил, завтра станет поздно. «Кто ты?» — бросала она себе в лицо, тёмная и страшная, стоя перед зеркалом в ванной, и отворачивалась в отвращении, не находя ответа.

Её переполняла ненависть. Сейчас эта ненависть съедала её саму, отравляла как ядом, вытягивала последние соки, доводила до иступления. Не спасали ни работа, ни Жанна, ни общение с матерью, ни переписка с Анной, ни книги, ни тем более концерты, выставки и кино, которые раньше, казалось, способны были держать на плаву даже в самую пасмурную погоду, а теперь — не маячили даже на горизонте.

Она стала переводить деньги. В один из фондов, помогающий детям, старикам, женщинам, объединённым одним словом — «жертвы». «Да кому угодно пусть идут эти деньги! — думала Полина. — Хотя бы и военным, там виднее. Просто буду перечислять копеечку, которая обязательно найдёт своего адресата: тому ребёнку даст чашку горячего чая и булку, этой старушке — тарелку гречневой каши, а той мамочке — билет на автобус, чтобы выбраться поскорее из ада». «Живите!» — приговаривала Полина, отправляя очередную сумму, и это «живите» побеждало на короткое время «жмуров».

Но переводы не выводили из ступора, не уменьшали боли, не спасали. И — понимала она — не меняли ситуации. Борьба с последствиями, спиртовые ватки на теле. Требуется что-то большее. «Кто ты?» — тыкала в зеркало Полина.

Ответ неожиданно нашёлся в слезах.

Она никогда не интересовалась народными традициями: зачем, например, покойников на похоронах оплакивают профессиональные плакальщицы (разве недостаточно скорби родственников?). И не изучала этот вопрос и сейчас, — дабы не натолкнуться на препятствие, что может свести на нет её искренний порыв. Она чувствовала, что нужно следовать инстинктам, слушать сердце. Внутренняя природа толкала её к определённым действиям, и там, именно там, виделся свет.

Она стала плакать. Плакать не за себя, не от собственной боли, а за других, за чужую боль. Становилась после работы на колени, как на молитву, склоняла голову к полу («к долу», — называла она) и отдавала себя без остатка, до капельки, до слезинки, оплакивая их — невинных, убиенных, всех вместе и каждого в отдельности. «Сейчас дело оплакать», — говорила Полина, извлекая из себя знание, о существовании которого не подозревала. Но и не удивлялась открытию, — она следует за сердцем, а сердце не обманет, приведёт, как клубочек в дремучем лесу, к заветной полянке, на которой солнышко, на которой не властна смерть. «Всё ведали предки, всё чувствовали. Но и у нас дверца не заперта», — думала Полина. И верила: от её слёз облегчается боль и страдания тех, далёких, незнакомых, и рассеиваются тучи над ними, и кривая выпрямляется, и ближе становится мирное небо. Слезы изливались обильно, она не просто плакала, но — ревела, рыдала, выла.

«Что могу, маленькие, что могу!» — повторяла она, стоя, простоволосая, на коленях, сжимая кулаки, вонзая ногти в ладони. И видела перед собой бойца-богатыря — с русой бородой, большими руками и широкой грудью, в камуфляже, который находит в её горячих слезах, пусть убиенный и неживой, утешение и покой. «Всё сделаю, мой хороший, оплачу, омою!» — продолжала она, не поднимая головы. И видела новобранца-мальчика — совсем зелёного, круглоголового, безусого, пушок

на щеках, светлого, как одуванчик. И видела пожилого солдата — вчерашнего крестьянина, небритое лицо, светящиеся, как у подростка, глаза, золотые, оскалившиеся в щербатой улыбке, зубы, морщинистая шея, загорелая до черноты кожа, тяжёлые трудовые кулаки, вынужденные взять в руки автомат, чтобы защитить родную землю, — она не знала таких людей, но сегодня, вставши на защиту их, она знала всех и вся.

К слезам добавилось — «простите». И она стала просить прощения. Вставая утром на час раньше, она отдавала это время испрошению прощения. «За всех нас, — приговаривала Полина, стоя там же, на “истинно молитвенном” (название родилось само собой) месте у изголовья кровати, перед столом, на котором горела теперь свеча и лежал бантик-ленточка двуцветного флага. — За всех нас, и за...»

«И за меня в особенности, в отдельности!» — повторяла она горячо, потому как знала, что по-настоящему отвечать может только за себя. И ещё потому, что, как ни крути, является («такой уродилась, такой уродили, урод, урод, урод!») частью, крупинкой, куском того огромного и обширного, страшного и беспощадного, что повинно во всём происходящем. «Простите, простите, простите!» — вымаливала она, не замечая бега времени, готовая стоять на своём посту бесконечно, только бы, только бы...

Покаяние было по утрам, плач — перед сном. И как плача теперь не могло быть без покаяния, так и покаяния без плача, они дополняли друг друга и имели, соединившись, вдвое большую силу.

Очередное откровение пришло после особенно сильного плача.

«От себя не убежишь, — тянула она в тот вечер клубочек, нащупывая что-то важное, неосязаемое, невидимое. — Крошка, частица, крупина, кусок...»

«Я — часть того обширного и беспощадного. А значит, в ответе. А значит...» — она лежала в постели, потрясённая той загадкой и испытанием, которые поставило перед ней время.

Спустя день, они пошли с Жанной в джаз-клуб. Последний концерт известного столичного коллектива, решившего эмигрировать всем составом.

Народу собралось много. Полина расположилась за любимым столиком. Подруга здоровалась с приятелями.

«Последний...» — усмехалась горько Полина, не ощущая ни радости, ни тем более релакса, который сопровождал её всегда при посещении этого места, где играли живую музыку, где собирались симпатичные, близкие ей по духу люди.

Потягивая коктейль, она тонула в мыслях, которые и не думали никуда исчезать (в ведь пришла в надежде развеяться). Ей казалось, — собравшиеся похожи на заговорщиков, вынужденных вести подпольную жизнь, свои среди чужих. Встретились, чтобы сообщить: мы есть, мы живы!

Жанна подошла с компанией иностранцев. Все громко хохотали.

«Смеются, — отметила Полина. — А когда вот так же смеялась я?»

Рядом с ней расположился рыжебородый, в красном жилете, шотландец, — она видела его раньше, они, кажется, уже знакомились.

— Пол, — представился полузабытый Пол.

— Полина.

— О! — воскликнул он. — Совпадение.

Она не поняла сразу.

— И не случайно рядом, — Пол коснулся коленом её ноги.

Компания перескакивала с темы на тему, шумела, шутила, спорила, гремела бокалами, — всё как в лучшие времена. Полина оставалась в стороне. И лишь когда

разговор заходил о главном и больном, — включала слух и заливалась краской, под стать жилетке Пола.

Выйдя в уборную, она задержалась на обратном пути у сцены: возвращаться не хотелось. Пол махал ей рукой, улыбочивый, весёлый парень, из той самой категории «своих». Пол и Полина. «Не случайно рядом». У неё давно не было мужчины. И сейчас она с недоумением смотрела на Пола: принимать ухаживания, отвечать взаимностью, флиртовать, даже заниматься любовью с самым дорогим человеком казалось ей странным, неуместным, даже диким. Любовь сквозь слёзы...

Она вернулась, когда все вышли на воздух, — за столиком остался один Пол.

Он перешёл на плохой русский, что-то объяснял, шептал, выкрикивал, не сводя с неё смеющихся глаз, касаясь под столом коленей коленом. Тоже, наверное, долго сидел в одиночестве, в компании таких же рыжебородых.

«У меня ещё дела», — помнила она о вечернем правиле, которое теперь представлялось куда более обязательным. И Полина бежала. Пол порывался проводить, просил телефон. «Нет!..»

...А дома, после плача, стоя у стола на коленях, она вдруг ощутила удар. И увидела в своих ладонях узор, который так долго не складывался. «Надо же, — вглядывалась она. — Начинаешь с малого, и постепенно, шаг за шагом, всё выше и выше. Как просто всё. И — страшно... Но по-другому, наверное, нельзя? Клин клином, страшное страшным. Топчась на месте, глыбы не сдвинешь, дела не сделаешь...»

Полина зашла в ванную, заглянула в зеркало. «Взрослый человек — суть действия, дела», — говорили глаза. И никакие «жмуры» над ним не властны. «Жмуры, — усмехнулась она и выплюнула это паршивое слово. — Пошли вон!»

«Забралась изнутри, — думала она, кутаясь этим вечером в одеяло, и видела, как мечется мохнатое, слепое, беспомощное, не в силах учуять, понять, найти. — Не ждали?! Изнутри будем брать. Из самого что ни на есть нутра. — И выдохнула последнее на сегодняшний день. — Ничтожество!»

О том, что она может являться частицей, крупинкой, частью того, что окружало её, простиралось, закатывалось за горизонт, пугало, отталкивало, казалось непостижимым, неудобным, чужим, а теперь вот и преступно-убийственным, — она не задумывалась никогда. Точнее, со времён далёкого далёка, когда плясала, одетая в смешное платьице и платочек в горошек в окружении переодетых медведей под балалаечку и ложки в детском саду. И читала взахлёб народные сказки, собранные в красивую книгу с жар-птицей на синей глянцево-обложке. И баюкала племянника, но этого она почти не помнит. Чем старше, — тем больше она отодвигалась от того, что окружало, звучало когда-то в сказках, звенело балалаечной струной, стучало деревянными ложками и било в пол лапой медведя-топтыги. Со временем эта возникшая трещина превратилась в окончательную пропасть, преодолеть которую невозможно.

И вот оказывается, что никакой пропасти нет. А она — Полина — плоть от плоти, кровь от крови...

Через неделю снова пошла в тот же клуб. Пошла одна. Она слабо представляла, чем может закончиться вечер, не суливший на первый взгляд ничего хорошего. Но ограничиваться прежними (прилежно исполняемыми, но недостаточными) действиями Полина не могла, не имела права.

Замотанная (так захотелось) в платок, как монашенка, она была не очень похожа на себя и шла, — словно преодолевая встречный ветер, отрываясь от притяжения, которое толкало её обратно. Странное дело: она не замечала никого

вокруг, будто находилась не в водовороте города, а на безлюдной окраине. И ещё не видела света, фонарей, окружающей привычной иллюминации, точно свет горел не для неё.

Клуб оказался заперт. Она не посмотрела в Интернете программу на вечер, потому что не желала соприкоснуться с «земным», как она называла любые обыденные дела.

«Почему? — недоумевала Полина, идя назад. — Из-за текущей ситуации? Или клуб — очаг свободной жизни — закрылся, потому как всё закончилось, а подстраиваться нет смысла? И улетели-упорхнули вместе с джаз-блюз-бэндами его владельцы, навесив на дверях большой амбарный замок? А она пришла, дурёха...»

И после, вспоминая этот поход, даже сомневалась: а был ли он на самом деле?

Но первый шаг был сделан — во сне или наяву. Шаг трудный, болезненный, подтачивающий сами основы реальности. Той реальности, которой не должно существовать.

Она представляла, чем мог завершиться вечер, найди она искомое. Пусть бы там снова сидел Пол и его друзья. За тем самым столиком. Пусть бы пошли те «стыдные» разговоры, от которых она так мучилась, и краснела, и бежала. Она краснела бы и сейчас, но не сдвинулась бы с места, не закрылась бы, а принимала всё на себя. Так получалось: она — плоть от плоти. А значит, с неё и спрос!

Пол сидел бы рядом и, выпивая и смеясь, краснолицый, краснобородый, положил бы руку ей на талию (всё правильно). А потом на колено, не меняясь в лице, не прерывая разговора. Она бы взяла его руку и не отдернула от своих холодных коленей, а крепко сжала — до боли, до хруста. И Пол закричал бы, загоревшись глазами, вдруг что-то друзьям, обдав их огнём и винными парами. И полыхнул бы следом немедленно весь стол, как спичка, и весь бар разом.

Круглый стол как блюдо. Большое и вместительное. На него можно лечь, раскинув ноги и руки, и глядеть в тёмный потолок, по которому расходятся тусклые круги. Прочь стаканы и посуду! Вся перед вами. Бейте, рвите, насильничайте, истязайте! Заслужила.

Маленькие мои...

Первым стал голландец. Из Роттердама прилетела делегация забирать выставку, вечером в музее им устроили фуршет. Сначала пили чай, потом вино. Полина отметила: без вина было бы совсем худо. Атмосфера — как на поминках, диалог долго не клеился. Обсуждать сложившуюся международную ситуацию было некорректно, поэтому говорили дежурно о прошедшей (когда-то давным-давно) выставке.

Вино спасло. Исчез барьер, и все засмеялись в полную силу. «Как раньше, — отметила с облегчением Полина. — Наверное, это называется “позволить себе минутку слабости”».

«Полина? Кажется, Полина?» — приезжий куратор, зрелый мужчина, подал ей фужер игристого.

Первое желание — отказаться и убежать. Но вспомнился Пол, её реакция.

«Да», — протянула руку.

Они отделились от остальных. А потом, незаметно исчезнув, поехали к нему в гостиницу.

Полина предполагала, что не будет места ласкам и нежности и, собственно, не желала их. Она не желала вообще ничего, если разобраться. И при этом желала только того, что должно произойти.

Светлана Волкова

Палец

Рассказ

Серый потолок походной палатки качнулся и замер, потом вновь поплыл, и мелкая сыпь прорезей в плотной брезентовой ткани напомнила Косте Баранову пшеничную кашу, которую в далёком детстве варила няня Иринушка. Веранда, подтёки солнца на жёлтом дощатом полу, запах творожной ватрушки и вечно сбегающая от Иринушки каша...

Морфин переставал действовать, источался, и Костя вновь почувствовал тикающую боль в правой кисти. С этой болью можно было жить, она не резала и не рвала, как, кажется, было совсем недавно: минуто ли, две назад.

Полог колыхнулся, выпустил полоску света и уставшего доктора. Из-за его сутулой спины пугливой пичугой высовывалась маленькая сестра милосердия в белом облаке апостольника на голове и с железной кюветкой в руках.

Доктор молча подошёл и сел на низенький табурет рядом с кроватью Кости, сестра верной его тенью встала рядом.

— Константин Алексеевич, давайте-ка посмотрим ваши пальцы.

И не дожидаясь ответа, он выловил из-под одеяла Костину руку и принялся разматывать бинты.

Костя повернул голову и только сейчас заметил, что палатка была огромной; ряды коек с лежащими на них людьми показались ему бесконечными. Боль возвращалась горячими толчками, отдавала в висок лопающимся электричеством.

Усталый доктор что-то говорил, Костя никак не мог уловить смысл его слов — и лишь смотрел на монокль, так похожий на циферблат карманных часов.

— Нам удалось спасти кисть, но...

Это «но» прозвучало как щелчок затвора винтовки. Дальше Костя вслушивался в речь доктора и как замороженный не мог отвести взгляд от его монокля.

— ... Дабы избежать гангрены и сепсиса... Изолировать ткани... Нам пришлось... Нам пришлось... Пришлось... Ампутировать указательный палец... Было сделано всё возможное... Поверьте... В вашем положении, при общем состоянии...

Волкова Светлана Васильевна — прозаик, переводчик, сценарист, родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Автор книг «Голова рукотворная», «В Петропавловске-Камчатском полночь», «Убегучая девочка». Печаталась в журналах «Нева», «Октябрь» и др. Лауреат многих литературных премий, в т.ч. пяти премий «Русский Гофман» в номинации «Проза». Участница Мастерских АСПИР. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 6.

Будто разом включили звук на полную. Костя услышал стоны с соседних коек и какой-то гул за тонкой матерчатой стеной палатки. Но громче всех звучал голос доктора: «Нам пришлось ампутировать...»

«Нам пришлось ампутировать...»

«Нам пришлось ампутировать...»

Но это неправда! К чему такое глупое враньё?! Костя знал, что палец на месте, он даже мог пошевелить им — и шевелил, фаланги сгибались, как и прежде...

— Фантомные боли, Константин Алексеевич, — тихо ответил на его мысли доктор.

Бред! Костя чувствовал даже жёсткий заусенец на ногте того самого указательного пальца. Своего *живого* пальца!

— У вас ещё сильная контузия, — доктор передал сестре змеистый бинт, весь в красной чешуе запёкшейся крови. — Но вы человек молодой, всего двадцать шесть лет, целая жизнь впереди. К тому же боевой офицер, мне ли учить вас мужеству? Мы сохранили остальные четыре пальца, это главное. Для полевого госпиталя и тех условий, в которых мы оперируем...

Звук его голоса потонул в шуме в затылке, Костя хотел обхватить голову обеими ладонями, но юркая сестра поймала на лету его правую руку, и Костина кисть затрепыхалась в её маленьких пальцах, подобно потерявшей птенца обезумевшей птахе.

— Не надо бояться, взгляните, Константин Алексеевич!

...И Костя увидел наконец свою опухшую кисть, синюшно-розовую, с жёлтыми йодными пятнами, и судорога прошла по спине от этого странного зрелища.

Указательного пальца не было.

* * *

Сестра молча перевязывала Костину руку чистым бинтом. Ему захотелось назвать девушку Иринушкой, и, хоть она и не смотрела на него, он был уверен, что глаза у неё гранитно-серые. Усталый доктор сидел у койки другого раненого и что-то тихо говорил ему. Раненый плакал.

— Как вас зовут? — спросил Костя сестру.

— Кика.

— Что за странное имя?

— Цецилия в крещении. Но все зовут меня Кика.

— А число? Число какое?

— Одиннадцатое июня.

Жив, и слава Господу! Рука цела — это главное! Оружие можно и левой научиться держать. Или четырьмя оставшимися пальцами! Костя вспомнил непутёвого Иринушкиного брата, матроса, лишившегося по пьяни обеих рук (сунул, дурак, в машинную пасть на крейсере) — так тот наловчился всё делать ногами: и ложку держать, и на балалайке брэнчать. А тут всего лишь палец. Правда, главный, указательный...

«Правый указательный — всем пальцам царь. Другими жертвуй, этот — береги пуще зеницы», — вспомнились слова Иринушки.

Кика продолжала бинтовать кисть.

— Алексей Васильевич — волшебник. Вы уж поверьте. Колдовал над вами всю ночь. Лучший хирург из всех, с кем приходилось работать.

«Да много ли она успела поработать, ведь так юна! — подумал Костя. — С начала

войны прошло меньше года. Небось, наскоро окончила медицинские курсы и сразу, в четырнадцатом, на фронт».

— Много успела, — будто услышала его мысль Кика и льдисто взглянула на него. — Ещё в японскую ассистировала. Я вам, может статься, в матери гожусь.

И только тут он заметил, что серые глаза у неё совсем не девичьи, а какие-то *посторонние*, что ли, не подходящие к гладкому личику без единой морщинки... Как с икон со святыми стариками, с такой холодной колодезной глубиной, что даже оторопь берёт... Похожие глаза были у их старого полкового писаря: тот почти ослеп от ранения в голову, но виртуозно притворялся зрячим, смотрел вроде на собеседника, а вроде и сквозь него...

Воспоминания о писаре всколыхнули в памяти Кости события последнего его боя, конский топот, крики, громыхающие со всех сторон выстрелы и железистый запах собственной крови — от рассечённой до кости брови. Он потянулся к упавшей фуражке, и последнее, что запомнил, — была рыжая вспышка взрыва, как раз в том месте, где кокарда, и огненная боль в правой руке...

— А хотите... — Кика наклонилась к самому уху. — Хотите, я принесу вам ваш палец?

Костя уставился на неё. Его отрезанный палец? Зачем? Но губы сами произнесли: — Да. Хочу.

* * *

В палатке было душно, и даже приоткрытый её полог не приносил свежего воздуха. Костю смаривала ватная дремота, он чувствовал, что уплывает куда-то, как вдруг резкий звук заставил его вздрогнуть. Он открыл глаза и увидел, что это Кика поставила металлический лоток на его ящик, служивший прикроватной тумбочкой.

— Ваш палец, сударь.

Она чуть заметно улыбнулась — даже не кончиками губ, а крыльями носа, будто фыркнула.

Костя взглянул на лоток. Там, на белой марлёвке бинта, как драгоценный гномий скипетр на царственной подушке, лежал его палец. Указательный палец правой руки...

Он хотел было крикнуть «какого чёрта!» — но губы не слушались.

— Я приду через пять минут, — Кика повернулась и вышла из палатки.

Костя смотрел на палец и не мог понять, что чувствует. Ещё утром это вот было частью его самого, а теперь лежит перед ним нечто чужеродное, чья-то умирающая плоть. Чья-то — но не его, не его!

Он встал, взял лоток и вышел из палатки. Низкое солнце растекалось по блёклому небу яичным желтком, пачкая облака, и это загипнотизировало Костю, парализовало. Минуты две он стоял не шелохнувшись, вцепившись здоровой рукой в металлический край лотка и глядя на небо. Потом встряхнул головой, сбрасывая морок, и вновь взглянул на палец.

Палец был белый с серыми штрихами складок на суставах, желтоватым ногтем, с чёрной гангреной метиной и коркой бурой запёкшейся крови у основания, чуть прикрытого марлей. Он показался Косте отвратительным — таким, что его замутило, он швырнул лоток на землю и брезгливо вытер ладонь о рубаху. Палец выпрыгнул из лотка, как скоморошик из балагана, и покатился по мокрой от вечерней росы траве. Костя хотел отвернуться, но не смог отвести глаз от мёртвого пальца.

И где-то у тмени изнутри будто клюнула мелкая птица. И зашуршала, заворочалась память.

Он, палец, был убийцей.

Он, палец, нажал на спусковой крючок в тот самый миг, когда рука дрогнула, и шальная мысль, что нет, нет, нельзя, назад, остановить всё, он передумал, передумал, передумал, — пришла слишком поздно. Пуля опередила и мысль, и сердце, и мозг, и даже дрогнувшую руку. Опередила — и попала точно в живот несчастного обезумевшего мужа одной ветреной актрисы со сладким сценическим именем Мадмуазель Карамель и чертами лица, которые он так и не смог запомнить. Муж долго закрывал глаза на многочисленные измены супруги, а потом вдруг приревновал именно юного Костю, успевшего полакомиться роковой Карамелью только один-единственный раз. Воспоминания о том вечере были рваными: звон дверного колокольчика поздней ночью, шорох шагов на лестнице, стоящий в дверном проёме всклокоченный бородатый незнакомец с бесноватыми горящими глазами и нацеленный на Костю пистолет. Да он и держать его не умел, глупый музыкантишка, и ростом был ниже Кости на полголовы, и шуплый, как цыплёнок за двугривенный... И ведь, наверное, пришёл-то всего лишь поговорить, потому что, когда хотят убить — Костя теперь уж знал наверняка — не разговаривают. И шага в комнату он не сделал, словно стеснялся. Костя хотел только припугнуть, достал отцовский наградной револьвер, по счастью (Костиному счастью) хранившийся в незапертом ящике письменного стола, поднял руку...

...Это было первое убийство, за которое его оправдали благодаря усилиям ловкого адвоката, нанятого отцом. «Самооборона» — лучшее из стратегии защиты и лучшее из объяснений с собственной совестью.

Второе убийство палец совершил так же без воли Кости. Произошло оно спустя три года после истории с мужем актрисы.

Стояла белая петербургская ночь, душная и белёсо-прозрачная, как матовое стекло. Костя зашёл к своему знакомому отдать три рубля долга. Этот знакомый, Ваня Снаткин, сын университетского преподавателя философии, находился в возбуждённом нервном состоянии, как если бы проиграл или выиграл в карты, — не поймёшь, от радости или от горя. Причиной Ваниной эйфории была любовь, и Ваня от неё у-м-и-р-а-л.

— Сегодня всё решится, — жарко шепнул Снаткин Косте. — Катя должна дать мне ответ.

— Какой ответ? — равнодушно спросил Костя.

— Согласится. Или отказать, — Снаткин посмурнел. — Мы договорились: сегодня она скажет, будет ли со мной или выйдет замуж за офицера, тот давеча сватался к ней. Но если... — его голос сорвался, он с силой ударил кулаком по этажерке, и та хрустнула. Кровь расцвела на костяшках пальцев, но Снаткин даже не заметил.

— Если она согласится быть моей и откажет этому офицеру, то зажжёт свечку в окне. Не позже полуночи. Таков наш с ней уговор. Вон там.

Он наполовину свесился с подоконника и ткнул пальцем в направлении тёмных глазниц окон последнего этажа высокого дома, торчащего над бурой черепицей зданий пониже.

Костя знал этот дом, через две улицы.

— Да неужто Катя Матросова?

Снаткин кивнул и ревниво зыркнул на товарища.

Они ещё поговорили немного, и Костя вышел, так и забыв вернуть деньги.

Идти домой не хотелось: уж больно ночь была хороша. И ноги сами понесли его через две улицы, к Фонтанке, к тому самому дому. Катя, Катенька, репетитор по французскому. Он брал у неё уроки по грамматике в последнем классе гимназии и был немного влюблён, как бывает влюблён ученик в молоденькую прелестную учительницу. Верилось, что и Катя испытывает к нему определённую симпатию. Потом Костя окончил гимназию, стал студентом, и тонкий аромат её духов выветрился из памяти, как и сама Катя. Теперь же, стоя напротив знакомого дома и глядя на единственное окно её мансардной квартирки, где она жила с пожилым отцом, он вспоминал, как хороши были Катины алебастровые руки, и разлёт шёлковых бровей, и маленькая, в форме капельки, кофейная родинка у шеи. Она, вероятно, всё так же мила, хотя прошло почти пять лет с момента их последнего урока. Каков этот Снаткин! Влюбился, жить без неё не может. А ведь Костя всегда считал его недалёким поверхностным гулякой... Откуда вдруг такая глубина чувств? И жениться хочет, а ведь Катя старше и не ровня ему. Да и что за романтический бред: сигналить свечкой! Неужто нельзя просто подумать и ответить, мол, да, согласна. Или — нет, не люблю вас, Снаткин, подите вон.

Костя поморщился. Взглянул на дом. Желтушный сок фонарей, почти никчёмных в белую ночь, искажал строгие линии фасада, по-эльгрековски нарочито вытягивая карнизы, наличники и тощие подобию колонн, как вытягивает старательный скрипач ноту из многострадального инструмента. Костя задрал подбородок к небу и увидел Катин силуэт в окне. В одно мгновение он взлетел по знакомой лестнице наверх, к последнему этажу, забарабанил в дверь, хотя знал, что есть колокольчик. Скрипнул засов, и старенький Катин отец, кутаясь в большой домашний халат, появился в проёме.

— Чем обязан, сударь?

— Вы не помните меня? Я брал уроки у вашей дочери пять лет назад, — затараторил Костя, — меня зовут Константин Баранов.

Из-за спины отца появилась Катя со свечкой в руках. Зажжённой свечкой!

— Костя? Папа, это Костя. Проходите же!

Старик распахнул дверь, впустил его в крохотную прихожую.

— Простите за поздний визит! — Костя не отрываясь смотрел на свечку. — Мне нужен французский. Экзамен будет... Очень скоро. Завтра..

— Но сударь, — кашлянул в кулак отец. — Уже глубокая ночь.

— Мне нужно! Сейчас! Subjonctif! — он вытащил из кармана три рубля, не отданные Снаткину, и положил на стоящий рядом табурет.

Отец с недоумением поглядел на него, но деньги взял.

— Что ж, ежели так срочно. Катенька, достань свои учебники, я пока заварю гостю чаю. Да вы проходите в комнату, господин Баранов.

Отец зашаркал на кухню, а Катя подошла к подоконнику, поставила подсвечник, накрыла стеклянным колпаком от сквозняка и задёрнула тяжёлую штору.

— Я не преподаю уже два года, Костя, но раз у вас такая ситуация...

Она была по-прежнему хороша, даже краше, чем пять лет назад, стройнее, и во взгляде её появилось что-то неуловимо манящее, женское, взрослое. Домашнее платье ей очень шло, хотя, вероятно, она его стеснялась, кутаясь в шаль, — в такую-то июньскую духоту. При тусклом свете керосинки, стоящей на столе, Костя всё равно заметил нежный румянец во всю щёку — то ли оттого, что ей было жарко, то ли от волнения, которое Катя не могла скрыть.

— Я должна найти учебник. И таблицы глаголов.

Она нырнула в боковую дверь. Он остался в комнате один. Из кухни доносилось бряканье чашек и тихое бормотание отца. Костя постоял, не понимая до конца, зачем он здесь, и, подойдя к окну, осторожно отодвинул ладонью штору.

...Маленькая свечечка под стеклянным колпаком горела ровно, без копоти, высоко поднимая длинный лисий язык. Костя долго смотрел на огонь. Большая капля желтоватого воска поползла по свечке вниз, Костя протянул руку, снял стекло и... Нет, он не хотел... Совсем не хотел... Но палец! Это он, палец, быстро накрыл пламя и вдавил его в жидкое темя свечи!

Костя рвано вспоминал потом, как, плотно задёрнув штору, вылетел из квартиры, как бежал сломя голову вниз по лестнице, как не мог отдышаться у ограды на набережной, как блестела вода в Фонтанке и как потом долго не заживал на пальце ожог.

...Дня через четыре он случайно узнал от общих знакомых, что Ваня Снаткин повесился, получив от своей любимой ложную весть о разрыве с ним. «Какая глупая смерть», — говорили тогда все.

«Глупая», — соглашался Костя, пряча пальцы в кулак.

* * *

Третье и четвёртое убийства были уже на войне. И пятое. И шестое. Он, палец, совершал их, чётко и хладнокровно ложась на металл спускового крючка, и была в пальце в тот миг какая-то невероятная стальная сила. Косте казалось, что он, палец, удивительным образом хранит его и от смерти, какой-то своей языческой мощью защищая, вытягивая и оберегая. Ему иногда по ночам вспоминались два эпизода. Первый случился с ним в раннем детстве, на даче в Вырице.

— Правый указательный — всем пальцам царь, — говорила Иринушка, обучая трёхлетнего Костю счёту. — Раз. Показываешь пальчик. Это один. Два, показываешь соседний, три...

— Хочу раз! — топал ногами Костя, которому было лень запоминать остальные цифры, и, как ни билась с ним Иринушка, упрямый ученик отказывался учиться.

Однажды днём Иринушка повела Костю вместе с четырьмя его двоюродными братьями и сёстрами к реке Оредеж. Дети играли на берегу, а Иринушка вязала, сидя на одеяле в тени деревьев. В воду входить не разрешалось, и никому в голову не приходило послушаться няню. Иринушка невольно задремала. Костя измазал руки свежим дёгтем, которым рыбаки промазывали лодки, и сидел на песке, разглядывая и нюхая палец. В это время к реке приближался некто Павлуша Рыбин, скопец, сектант, убеждённый бунтарь и просто местный сумасшедший. Павлуша свято верил в близкий конец света и выживание горстки избранных, к которой сам он и принадлежал. В тот день что-то особо не заладилось в Павлушиной голове, и конец всего живого показался ему очевидным настолько, что Рыбин решил не дожидаться его, а умертвиться немедленно. Он надел «парадное» рубище, привязал верёвками на шею три тяжёлых кирпича да и пошёл бросаться в Оредеж, на стремнину, на острые камни. И вот, у самой воды Павлуша вдруг увидел Костю. Божье дитя, рубашечка белая, крестик на тонкой шейке — чистый ангел! Недолго думая, Павлуша подхватил Костю и начал входить с ним в воду. Боженька примет жертву. С младенчиком, подумалось Рыбину, и врата небесные скорее откроются, не иначе ж — с невинным Господним проводником идёт, и дорога в рай будет широка и приветлива.

И быть бы Косте уопленником, если б не палец. Костя распрямился на руках у полоумного раба божьего Рыбина и показал ему пальчик, сказав «раз». Павлуша вдруг замер, остановившись и оцепенев. Это «раз» вкупе с запахом смолистого дёгтя, ударившего в ноздри, детский пальчик, который Костя по какому-то наитию приложил к Павлушиным губам и, имитируя Иринушку, прошипел «тсс», переключили румпель в голове недоутопленника, Рыбин разжал цепкие объяття, и Костя выскользнул из его рук, как обмылочек, больно ударившись головой о прибрежный камень. И то была удивительно малая плата за чудом спасённую пальцем жизнь, и отмаливать бы Косте неожиданный подарок до конца дней своих, но взрослые предпочли никогда больше ему не напоминать о чокнутом скопце. А сам он тут же и забыл. Но Иринушка каждое воскресенье ставила за мальчика свечечку в церкви. И плакала. Вплоть до своей смерти в десятом году.

Павлуша же признался судебному психиатру, под надзор которого он в скором времени попал: «У него пальчик синим светился! Губу мне обжёг. Ангелочек мальчоночка, только пальчик бесоватый».

Знал бы тогда трёхлетний Костя, что «бесоватый пальчик», точно осмысленное стороннее существо, умное и по-умному злое, будет творить одному ему, пальчику, ведомое, и что никто не сможет изменить единожды задуманное им: ни окружающие люди, ни сам его покорный хозяин.

* * *

Второй яркий эпизод случился в девятом году, в длинный каникулярный отпуск. Костя и его студенческий друг Генрих Шмидт поехали в Зальцбург к родителям Генриха. Там собралась группа молодых легкоголовых студентов, в основном австрийцев, и все дни они проводили в кутежах, пьянстве и волоките за местными барышнями, смешливыми и приторно хорошенькими. Когда пиво и крепкий алкоголь, равно как и женщины, уже порядком поднадоели, Шмидту пришла в голову идея поехать в горы. Костя с воодушевлением согласился. Собралось человек восемь, купили верёвки, альпийские крюки, ботинки на шипах и отправились в ближние Альпы. Шмидты-родители были категорически против, но ни Генрих, ни тем более Костя прислушиваться к их мнению не пожелали.

Они прошли до середины пути к намеченной точке, и впереди шёл некто Дитрих, про которого говорили «альпиец». Впрочем, этим почётным званием мог смело именовать себя почти любой, выросший в окрестностях Зальцбурга.

«Прогулка», как молодые люди называли свой поход, казалась поначалу нетрудной. Лишь внезапный дождь, хлынувший из невесть откуда взявшейся тучи, немного омрачил настроение, но солнце, брызнувшее через пять минут, придало сил. Тропа петляла, жёсткий кустарник норовил поцарапать ноги, и усталость уже навалилась тяжёлым мешком на затылок и плечи, а развилка на карте Дитриха, где было условлено сделать привал, всё не показывалась. Вдруг кто-то из группы заметил эдельвейсы на небольшом, как тарелка, уступе.

— Я хочу себе в петлицу, — заявил Генрих и осторожно, боком, как краб по пирсу, начал двигаться к уступу, прижимаясь спиной к влажной скале.

— Я тоже хочу, — Костя рванул следом.

Напрасно им кричали товарищи, молодой задор взял верх, и спустя пару мгновений двое безумцев были уже рядом с уступом. Оставалось сделать всего несколько шагов... Генрих вдруг остановился:

— Баранов, довольно. Можно и отсюда достать.

Он потянулся и сорвал мелкий белый цветок.

— Струсил? — с ухмылкой бросил ему Костя.

Он кивнул на большой голубоватый эдельвейс, росший шагах в пяти от них. Но путь к нему лежал через трещину величиной с половину Костиного роста.

— Ерунда. Перепрыгнуть можно. Перешагнуть даже.

— Я не хочу... — нервно засмеялся Шмидт.

— А я хочу! — упрямо заявил Костя. — Не шевелись, я перелезу через тебя.

И не успел Генрих опомниться, как Костя вцепился в ремень Шмидта и занёс ногу на ту часть уступа, что была у самой трещины. Миг — нога соскользнула по мокрому камню, и Костя сорвался вниз, увлекая за собой в пропасть несчастного Генриха. Оба успели закричать, и их товарищи, которых скрывало узкое, как лезвие, ребро скалы, рванули на помощь, а когда доползли до трещины, то Шмидта уже не увидели...

...Не увидели бы и Костю, потому что ухватиться ему было совсем не за что. Колючие стебли татарника, о которые он ободрал ладони в кровь, были вырваны с корнем и уже летели вниз, догоняя Генриха, и только эхо глотало их шуршащий полёт и выплёвывало вперемешку с криками людей. Но палец! Тот самый палец вновь вершил его судьбу. Палец, палец! — лучше любого альпийского крюка зацепился за корень-петельку сколиозной карликовой сосны, росшей вопреки природной и геометрической логике на почти вертикальном каменном склоне; палец, палец, палец! — вгрызся по ноготь в жёлтое тело скалы, обманул закон гравитации и силу тяжести, вытянул, выудил Костину маленькую жизнь.

...Когда подросли приятели, фаланга пальца онемела, но держала не хуже профессионального крепежа. Костю подхватили за запястье, рывком вытащили из бездны, и только через полчаса кто-то заметил, что палец всё ещё сжимает выдранный корешок, как фамильный перстень...

* * *

Костя редко вспоминал все эти истории. Но в голове всегда сидели слова Иринишки: «Правый указательный — всем пальцам царь. Другими жертвуй, этот береги пуше зеницы». И Костя берёт, всю жизнь берёт. Грел его в холода в левом кулаке, дул, когда обжигал; крестился им, по какой-то своей схеме соединяя два других пальца в щепоть, но касаясь лба лишь указательным; отправлял им воздушные поцелуи приглянувшимся случайным барышням; закрывал глаза покойникам; подносил им к ноздре раздобытый по великому случаю кокаин; грозил им при споре; пробегал им по строчкам бухгалтерской книги, подсчитывая хозяйственные доходы и расходы; обмакнув в расплавленный воск, скреплял им студенческую долговую расписку; нажимал им на спусковой крючок, неся смерть; доводил им женщин до экстаза и отстукивал на печатной машинке текст книги.

Палец был его альтер эго. И только война помогла Косте это понять.

Год назад, будучи на фронте несколько месяцев, он заметил, что ноготь на пальце врос в мясо и беспокоил. Полковой фельдшер велел осторожно подрезать ноготь, но Костя пропустил момент, и тот начал крепко вращать в плоть, медленно и занудно причиняя лёгкую нарывную боль. Он будто постоянно требовал к себе внимания, зудел, и Костя впервые ощутил панику, ни с чем не сравнимую. Было особенно удивительно, что такую панику не смогла в душе его посеять даже война. Ужас возможной гангрены, живого гниения и липкий страх потерять палец не давали покоя, выливались под утро настоящим кошмаром, и Костя ходил, как живой мертвец, пока

не нашёл в одном посёлке, где квартировал их полк, доктора-татарина. Тот дал ему мазь, чёрную и вонючую, Костя намазал палец, обмотал бинтом на ночь, и произошло чудо: через три дня, когда Костя снял повязку, всё прошло, нагноение сгнуло, но ноготь навсегда отделила желтизна.

* * *

...И вот сейчас Костя смотрел на этот желтоватый ноготь в мокрой от вечерней росы голубоватой траве и никак не мог сложить в голове простое арифметическое действие «один плюс один». Он, Костя, один. И палец один. Вместе они совсем недавно составляли единое неделимое целое. А вот полковой хирург взял и поделил. И что ж теперь?

Если бы это был какой-нибудь другой палец, но не этот, не этот, не этот! Да Костя бы левую руку отдал целиком, только бы палец оставался с ним!

Он, палец, определял Костину судьбу, заставлял бежать, останавливаться, умирать, падать и подниматься. И что же теперь? Нет судьбы?

Его охватило острое желание прикоснуться к пальцу. Он сделал к нему осторожный шаг и, дёрнувшись, отскочил: показалось, что палец сейчас зашевелится.

Уже опускалась вечерняя заря, малиновая и нагая, и мелкие ватные облака, розовые в брюшных складках, нависли низко над полем, гладили пузом высокотравье, и голоса вдруг затихли — птичьи и человечьи. А Костя всё стоял не дыша и смотрел, смотрел на свою мёртвую плоть, не в силах оторвать взгляд. И только когда разглядел в сумерках, как большой продолговатый жук, блеснувший хитиновым панцирем в последних закатных лучах, неспешно залезает на белую фалангу и трогает рогом ноготь, кинулся, схватил палец и помчался с ним в палатку госпиталя.

Кика с доктором стояли спиной ко входу, но сразу обернулись. Задыхаясь от бега и волнения, Костя протянул им палец, как древко маленького флага.

— Пришейте! Христом Богом прошу! Пришейте!

— Идите к своей койке, господин Баранов, — равнодушно сказал хирург и отвернулся.

— Ну вы же можете! — крикнул Костя. — Можете!

— Господь с вами! — Кика криво улыбнулась. — Невозможно это, сударь.

— Вы врёте всё! — Костя сорвался на хрип. — Вы можете! Я... Я денег дам. Сколько хотите? Мой отец...

— Угомонитесь, Константин Алексеевич, — доктор снова повернулся. — Таких операций никто не делает.

— Нет! Вы умеете!

Он всё ещё держал палец на вытянутой руке.

— Реплантиция — предмет футуристический, нереальный, — холодно процедил доктор, и монокль его чиркнул желтоватым отблеском в свете коптящей лампы.

Костя отшатнулся. Бесы, не врачи это, не люди вовсе! Бесы!

Он попятился к выходу, и юная ночь всосала его в свою сизую пасть.

* * *

Сколько он пробежал и где теперь находился, Костя не знал.

Огромная луна смотрела на него немигающим глазом, и это бельмо на чернильном оке неба сводило с ума. Костя часто заморгал, стараясь прогнать морок. В лунном свете поле казалось нескончаемо огромным, а трава была высока и остра. Он лёг и ощутил, как влага проникает сквозь рубашку, и озноб заставляет тело дёргаться.

Звёзды — близки, но от слёз казались нечёткими, размытыми. Вспоминая детство, юность, недавние годы, Косте вдруг подумалось, что всё, что случилось в его жизни, было как-то не очень светло, а кто тому виной, он и не задумывался никогда. Не было любви. Была страсть, мелкая влюблённость, разочарования и обиды, обретения и потери. Да, не любил. И не был любим никем. Даже собственной матерью, которая так никогда и не стала ему близка, а ближе была няня Иринушка, но та умерла, так и не захотев повидаться с ним напоследок. Отец? Редкое общение с ним было Косте в тягость, лишь щедрый ежемесячный банковский чек, который тот присылал сыну, свидетельствовал о некоем с ним родстве. А друзья? Костя хотел припомнить их имена, но так и не смог. Разве что Генрих, да он лежит где-то в альпийском ущелье, и кости его обглоданы птицами, даже могилы нет, лишь деревянный крест, воткнутый между камнями рядом с местом, где он упал.

Под тяжёлыми думами Костю накрывал вязкий сон, но земельный сырой холод пролезал под кожу, перебирал рёбра, как гусяр, и не давал упокоения. Земля вдыхала человечье тепло и выдыхала седую туманную взвесь.

Наконец, Костя встал — и мгновенно почувствовал, как онемела левая рука, в кулаке которой был зажат палец.

«Всё».

Он прошёл до середины поля, и там, где была проплешина в траве, принялся рыть здоровой рукой землю. Похоронить! Похоронить его! Будет новая, новая жизнь!

Костя вспомнил, что в детстве писал и рисовал левой рукой, но отец наказал Иринушке переучить его, поскольку считал, что левши неполноценны. И Костя переучился. Мучительно, но старательно. И всё в жизни делал правой рукой, хотя иногда и играл на пианино незатейливые пьески, ведя основную линию «неправильными» пальцами.

К чёрту! Как вовремя он вспомнил про это! Похоронить и забыть!

Костя засыпал палец землёй, примял ногой и вдавил пучок дёрна.

Выпрямился. Посмотрел на светлеющее небо. Всё.

...И почувствовал укол штыка между лопатками.

Он знал немецкий, но не успел разобрать сказанных слов. Лишь ответил по-русски «какого чёрта» — и ощутил горячую боль за секунду до того, как штык проткнул сердце.

Немецкий солдат отодвинул ногой тело и с жадностью принялся выкапывать зарытый клад. Когда же вынул нечто продолговатое, осторожно развернул белый саван бинта, то долго смотрел на маленького уродца и не мог понять, что это за сокровище и почему убитый им человек так старательно прятал его. А когда понял, не выронил, а пошёл в каком-то ступоре по полю на алеющую зарю, неся найденное на вытянутой трясушейся ладони и не в силах отпустить этот русский палец.

...Пока шагов через десять не подорвался на ждавшем своего часа шрапнельном фугасе.

Сергей Мальцев

Маша, Медвед и воздушная тревога

Рассказ

— Дяденька, а Миска боится?

— Не знаю. Раньше не боялся. А спроси-ка сама.

— Миска, миска, ты боишься? Дяденька, молчит миска. А как его зовут?

— Да просто зовут — Медвед.

— Ага. А давай, миска Медвед, знакомиться. Я Маса и никакой тлевоги не боюсь, а дома у нас есть кычык Лука, он тоже не боицца тлевоги по телевизору, и его все любят: и папа, и мама, и сестла, а баба Вела не любит — он цветок улонил...

Пассажиры автобуса с интересом наблюдали за беседой маленькой девочки в розовой курточке и большого плюшевого медведя, расположившегося между передними сиденьями. Я часто езжу на этом автобусе и знаю: Медвед (так его действительно зовут) — постоянный член экипажа, его талисман и любимец пассажиров. Я тоже из их числа и поэтому стараюсь попасть именно на этот автобус, «с Медведем».

Совместными стараниями водителей автобуса и пассажиров зверь был одет вполне достойно и по моде нашего приморского города: тельник (тельняшка), лихо заломленная беска (бескозырка), шарф любимой футбольной команды, которую нельзя не любить только из-за названия, и в завершение гардероба столь необходимые в южном климате, даже для плюшевого зверя, изысканные и, кстати, совсем не дешёвые солнцезащитные очки, — летом ему их подарила одна восторженная дама из столицы. То ли административной, то ли культурной — водитель не уточнял. Медвед подарок принял и носит с видом, достойным жителя нашего города, — тоже столицы — патриотической.

Прошло уже четверть часа, как наш автобус застыл на остановке. Причиной тому была очередная воздушная тревога. Скорее всего, наше ПВО зафиксировало пуск вражеских ракет где-нибудь в районе Николаева или Одессы и сработала система оповещения. В каждом телевизоре и в каждом смартфоне на территории города. По этому сигналу весь общественный транспорт останавливается на ближайшей остановке, и пассажиры с завистью смотрят на как ни в чём не бывало проезжающий мимо автотранспорт, не имеющий отношения к общественному. Дальше по замыслу городской администрации мы должны следовать в ближайшее убежище. Но поскольку

Мальцев Сергей Викторович родился в Томской области в 1959 году. Автор стихов и прозы. Живёт в Севастополе. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

эта самая администрация в общественном транспорте из точки А в точку Б не перемещается, то ей и неизвестно, что есть маршруты, где таких убежищ нет (сейчас будет надоевший до оскомины словесный оборот, но он до мурашек подходит). «Нет» от слова «совсем».

Наш маршрут именно такой — большая его часть проходит по территории бесконечных садовых товариществ. Остановка, на которой мы стоим, вообще расположена на берегу моря, а с другой стороны уютные домики, дома и домищи, у которых одна общая черта: капитальные заборы и наглухо закрытые ворота. Да и за ними, даже если впустят, вряд ли есть какие-нибудь подвалы. Короче, спрятаться некуда. Да никто и не собирается. По всему видно, что жителям города-героя прятаться от современной фашистской нечисти неуместно. Народ в автобусе вёл себя будто ничего особенного не случилось. Подумаешь — воздушная тревога. Дело житейское. Только одна бабуля, нет, пожалуй, ей лучше подойдёт это — *элегантная дама*, — одетая в соответствии с вызывающим уважением возрастом, обратилась ко мне, поскольку я сидел рядом:

— Молодой человек, как вы думаете, через час это закончится, или мне такси вызывать? — Затем, кокетливо вздохнув, добавила: — Приглашена в театр, а надо ещё к стилисту... причёску поправить.

Судя по всему, приглашение в театр поступило от кавалера, к коему дама была, скорее всего, небезразлична. Я пожал плечами:

— Затрудняюсь сказать. В прошлый раз два часа сидели.

Мой ответ явно даму не успокоил, и она, отправив кому-то сообщение, в следующие полчаса то и дело смотрела на свои часы.

— И когда только у этих сволочей бомбы закончатся? На рынок поехала, думала за час управиться, а теперь... — раздался женский голос сзади.

И тут же его прервал мальчишеский басок, обладатель которого явно хотел казаться старше своего возраста:

— Это не бомбы, мама. Беспилотники. *Скальпы* или *Шторма*. Их с самолётов запускают. Сосед наш, дядя Вася, он же в ПВО, говорил, что сбивать их не проблема. У его расчёта уже десяток на счету. Я решил после школы в Академию ПВО поступать, где дядя Вася учился. Имени маршала Василевского.

— Ох, сынок. Ты школу сначала закончи, седьмой-го класс с двумя тройками вышел. А без математики с физикой в академии делать нечего. Это тебе Василий Игоревич объяснил?

— Ага. Он меня подтянуть обещал. Ты же не будешь против, чтобы он к нам заходил, занимался со мной? И вообще...

— Что «вообще», Коленька?

— Да это... Наш папа погиб, когда я ещё маленький был, а дядя Вася тоже один... А он тебе нравится?

Чтобы дальше не подслушивать такой личный разговор, я надел наушники и запустил плейлист своего смартфона — зазвучали первые аккорды Блэкморвской Temple Of The King. Всё-таки старина Черномор гений... Мураши по коже всегда, когда слушаю эту вещь. Но вот музыка смолкла, и я решил осмотреться.

Несколько пассажиров собрались пойти пешком, видно, до их остановки было недалеко, оставшиеся проводили время по-разному. Двое мужчин вышли покурить, мать с сыном Колей продолжали обсуждать дядю Васю, молодые люди на заднем сиденье дружно смотрели в экраны смартфонов, а остальные просто смотрели в окна. *Маса*, которая Маша, увлечённо рассказывала своему новому другу Медведу

про кыщика Луку, полное имя которого, оказывается, *Луклеций*, «в честь одного умного дяденьки», и он, кыщик, а не дяденька, тоже «очень умный и милит маму с папой, когда те сослуются», а ещё он любит есть кильку и пить молоко. «А баба Вела поселдица-поселдица и Луку всё-равно полюблит, потому что он холоший». Медвед слушал внимательно и вроде даже кивнул пару раз. Это когда курильщики заходили и водитель вышел ноги размять — автобус немного качнулся.

Далеко над морем показалось белое облачко и вскоре донёлся звук разрыва.

— Сбили! — гордо сообщил Коля, явно чувствуя себя уже чуточку офицером ПВО. Мама же только обречённо вздохнула.

Обогнув автобус, впереди него остановился чёрный внедорожник с буквой Z на двери. Из него вылез стройный мужчина лет шестидесяти и вошёл в переднюю открытую дверь автобуса. Судя по выправке — офицер запаса или даже действующий, если звёзды большие. Но всё равно, дама на правильном пути.

— Наташенька! Ну что же вы! Надо было сразу позвонить, а не эсэмэски слать. Я не сразу их увидел. Давно вы тут?

Я взглянул на мою соседку. Кажется, она помолодела лет на десять. Или больше...

— Федя! Всё хорошо, ну зачем вы приехали, я бы и сама добралась на такси. Зачем утруждаться.

Но было видно, что она довольна инициативой своего кавалера. Дама Наталья прошла к выходу, изящно коснувшись валидатора своей карточкой. Маша, сидевшая в обнимку с медведем, помахала на прощанье зажатой в руке плюшевой лапой и с грустью сказала:

— Как говолит мой папа, «отляд не заметил потели бойца».

Пассажиры, услышавшие сентенцию, не смогли сдержать улыбок, а мама девочки насторожённо обратилась к дочери:

— Мария, надеюсь, ты не всё здесь будешь говорить, что слышала от нашего папы?

— Нет, мамочка, папа иногда говолит словами, котолые я ещё не знаю. А что не знаю, не говолю...

Водитель автобуса, пожилой мужчина с добрыми глазами Деда Мороза, философски заметил:

— Киножурнал «Хочу всё знать». Да-а-а, многие знания — многие печали...

И тут раздался звук пионерского горна. Водитель достал из кармана жилетки источник звука, выслушал сообщение и с облегчением объявил:

— Граждане пассажиры! Отбой воздушной тревоги. Враг разбит, и победа будет за нами. Наш полёт продолжается, просьба занять места. Экипаж благодарит всех за выдержку и спокойствие!

Молодёжь на заднем ряду заплодировала. Маша, уже считающая себя, как медвежьего друга, полноправным членом экипажа, гордо посмотрела на мать:

— Как говолит мальчик Тимул, в книжке, котолую мне читал папа: «Всем холошо! Все спокойны. Значит, и я спокойная тоже!»

А папа-то, знающий много непонятных слов, оказывается, наш человек, коли дочке «Тимура и его команду» читает.

Наконец, автобус тронулся. Я надел наушники. Вика Цыганова пела «Огонь перемен»:

...И мы исполняем сакральный приказ
И бьём
По своим городам...

2023 год. Поздняя осень, Донбасс, где-то в районе Авдеевской промзоны.

...Взрыв, ещё один и ещё... Я открыл глаза, спросонья не понимая, где я и что.

С потолка сыпалась штукатурка.

— Север!

Чья-то рука тряхнула меня за плечо, резкая боль отдалась в голове, и я невольно застонал.

— Командир! Ты как?

— Не дождётесь...

Я возвращался к действительности. Надо мной хлопотал крепко скроенный блондинистый Черкес, мой заместитель. Почему у него такой позывной, никто не знает. Сам не говорит, но слышал, что он даже на Кавказе никогда не был. Носит бороду, которая ему не идёт.

— Что там? Как ребята?

— Нормально. С тобой двое трёхсотых: Байкер и Медведь. Ничего серьёзного — осколками малёха посекло. Сами перевязались. А у чубатых жуть что творится. Федералы ФАБаами отработали, потом кассетами, изо всех стволов лупят... Танки подтянулись, скоро, помолясь, вперёд пойдём. Это самое, Медведь, когда тебя вытаскивал, говорит, что ты всё про какой-то автобус бормотал и про Машу с ним, с Медведем. А он никакой Маши не знает...

— Да, пожалуй, не знает... не свезло ему. Слушай, Черкес, что такое счастье по-твоему?

Тот задумался, гамма чувств пролетела по его бородатой физиономии, — наконец, что-то вспомнив, улыбнулся и выпалил:

— Дак это, «пошить костюм с отливом и в Ялту». — А потом серьёзно добавил: — Домой вернуться живым, с ногами и руками. Чего ж ещё?

Что тут скажешь? Всё верно — *с ногами и руками*. А в старом советском фильме один парень сказал, что «счастье — это когда тебя понимают». Тоже верно. Только для моих парней лучше быть понятым «живым с руками и ногами».

А что есть счастье для меня?

Понемногу в памяти всплывают, как в кино, кадры вчерашнего боя: колонна танков с крестами и несколько «Брэдли». В небе мечутся коптеры — наши и ихние. Отработал «Корнет» и РПГ-шки. В итоге — минус два крестоносца и пендосовское корыто. Моя «Рапира» врезала и заминусовала ещё один танк, но позиция была обнаружена, и оставшиеся танки заворочали стволами орудий. Успели ещё одному под башню загнать подарочек, и прыжком в укрытие. Больше ничего не помню. Кроме как...

...Последний день перед отъездом в Ростов на сборный пункт нашего «Барса». Попрошавшись с родными, решил ещё заехать на дачу, забрать кое-чего полезного. Сажусь в автобус, здороваюсь со знакомым водителем и киваю Медведку...

Вроде ничего такого особенного... Но мне вдруг показалось, что тот обычный день был счастливым. Не самым счастливым в жизни, конечно. Жизнь-то ещё не кончилась, наверное, ещё будут счастливые дни. Будут...

Крайний разрыв был каким-то очень уж близким, судя по количеству сыпавшейся штукатурки, ещё один, и ещё...

Нет, пожалуй, тот день и был тем самым счастьем. И не испортила его даже воздушная тревога...

Надежда Бесфамильная

Где светла небесная иордань

Высота 254,5. Июль 1943 г. Начало Курской битвы

Таких в России — сплошь и рядом мест,
Где рудники и родники окрест,
Хлебов раздолье — каждого насытишь.
Не всякому в названье дали слов,
Иным досталось дробное число,
Но намертво запомнишь, лишь увидишь.

Две сотни пятьдесят четыре пять
Одним умом Россию не понять,
Нездешнему уму — опасны игры;
Отсюда на восток куда ни глянь —
Рудник, родник — всё лакомая дань,
И прут на высоту стальные тигры.

Там, где от боя плавится июль,
Поплюй на руки и на страх наплюй,
Словами крой, огнём и не инако,
Тебя покрепче танковой брони
От пули фотокарточка хранит
На двести пятьдесят четвёртой с гаком.

Ты вспомни день, когда домой придёшь
И ощутишь в ногах впервые дрожь,
Качнувшись телом в маленькие сенцы...
Корёжь броню тигриную, Ванёк,
Тот сам себе возмездие навлёт,
Кто, кровь почуяв, вызверился сердцем.

Бесфамильная Надежда Николаевна — поэт. Родилась в г. Льгове (Курская область). Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Работает переводчиком. Автор пяти книг стихов, в том числе «Майский жук» (М., 2016) и «Чашка с незабудками» (М., 2019). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живёт в Москве.

И даже в смерти знай — не подведут,
Потомки, если снова в бой пойдут,
Случись засада вражья окружная,
За каждую земли и жизни пядь
Вновь будут Курск и Белгород стоять,
С высоток вражью силу отражая.

Ржанка. Память войны

На болоте мхов прошлогодних ржа
Да калужниц редкие сполохи,
Здесь, на топях, каждый опасен шаг,
Ты ходи пригорками, поверху.

Сколь ни щупай посохом — всё одно:
Под ногами лишь смерть кромешная,
Здесь и так костей без тебя полно
И железа с войны намешано.

Бурелом да поросль худых осин,
А под ними сплошь безголосица...
Комариный звон надо мхом висит,
Колокольный звон чуть доносится.

Где-то Мга и Луга, Смоленск и Псков
Оживают весной на солнышке,
Только ржанка знай себе вьёт гнездо
На болоте — растить детёнышей.

И далась вот эта ей глухомань —
Не покажется в город на люди,
Где светла небесная иордань
В отраженьях озёрной заводи.

Чьей вдовой была в прошлой жизни ты
Иль сама полегла когда-то здесь?
...Собирает округу за три версты
На молитву протяжный Благовест.

Будет ржанка на птичьём читать Псалтырь
Да о мире людском печалиться.
А война гудит, раздаётся вширь,
Не кончается. Не кончается.

Ноша

Поверни меня к свету, спаси, вразуми...
Всё истощнее время, всё горше и злей.
...Он приходит с мешком, с чем-то вроде сумы
И стоит по ночам над душою моей.

То ли первовиновник всея и всего,
То ль из новых пророков какой имярек,
А в суме у него ничего, ничего,
Лишь больной, злополучно начавшийся век.

Говорит — забирай, эта ноша — твоя,
На себе волоки, ни минуты не стой,
А в подмогу тебе — на ходу лития...
А мешок неподъёмный, хоть с виду пустой.

Говорит: погоди, покурю, не сбегу,
И выходит, с плеча не снимая мешка,
И ищи его, словно иголку в снегу —
Только крап на крыльце от его табака.

Только ветер гоняет открытый мешок,
Раздувает его, многозвучен и сипл,
Мне б дожидаться до света того, кто ушёл,
И подробно о ноше его расспросить.

Не дождусь, не усну, до бессонных кругов
Просмотрю все глаза — за окном ни следа,
Только надпись на мёрзлой странице снегов:
Эта темень надолго, но не навсегда.

Сергей Вараксин

Гогель-могель

Рассказ

— А ведь шинель-то моя! — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник.

Н. В. Гоголь. «Шинель»

«Хрум, хрум...» — слышите? — это Абрам Абрамович Башмачкин грызёт сухарь. Он сидит в землянке на снарядном ящике, глаза у него закрыты. Наверху, над брёвнами наката, метёт метель. Абрам Абрамович вспоминает Машу, высокую некрасивую девушку, дочку советского писателя Гомберга.

Он зашёл к ним попроситься, неловко топтался в дверях и вертел в руках запотевшие круглые очки. Маша сказала: «Снимайте шинель, у вас пуговица скоро отвалится». Абрам Абрамович снял шинель, и Маша унесла её в свою комнату, а они с Владимиром Германовичем пили на кухне чай из чашек с почти прозрачными стенками.

— Заснул, что ли? — подёргал Башмачкина за плечо Нагаткин. — Давай бегом, Печёнкин зовёт.

Капитан Печёнкин вызывал его к себе уже второй раз. Сначала он водкой дышал Башмачкину в лицо, толкал Абрама Абрамовича в грудь и заговорщицки шептал на ухо разные слова, щекоча Башмачкина роскошными будённовскими усами. Абрам Абрамович стоял, держал руки по швам и старался не рассмеяться. Сейчас Печёнкин молча достал из кобуры пистолет и зло посмотрел Башмачкину в глаза.

Эта почти невероятная история случилась то ли на Волховском, то ли на Ленинградском фронте холодной зимой 43-го года. Батальон капитана Печёнкина третий день пытался с боем взять станцию Любича, из которой его выбили части дивизии СС «Мёртвая голова». Печёнкина вызвали в штаб полка и грозились сорвать погоны. Приказ был простой: «Взять назад!» Печёнкину дали неделю срока. Теперь каждое утро вой миномётов будил окрестности, дрожала земля, и чёрные фигурки с криком «ура-а-а!» катились вперёд к деревне. «Та-та-та-та!» — стучал в ответ пулемёт, и фигурки откатывались назад, а некоторые так и оставались лежать в снегу тёмными холмиками, пока холодный северный ветер с печальным свистом не выравнял поле. Капитан Печёнкин ругался матом, пил водку и просил подкрепления.

Вараксин Сергей Викторович — член Союза фотохудожников России. Родился в 1957 году в посёлке Чула (Карелия). Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Рассказы печатались в журналах «Нева», «Урал» и др. Живёт в Петрозаводске.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Ну чё, Абрамыч, не сберёг шинель?! — заржали бойцы, когда Башмачкин вошёл в землянку в овечьем полушубке капитана Печёнкина.

— Идите в жопу, ребята, — интеллигентно сказал Абрам Абрамович, присаживаясь поближе к печке.

Он сложил руки лодочкой, уткнул в них лицо и покачал большой головой из стороны в сторону. Абраму Абрамовичу стукнуло сорок, он был мудр и в данный момент печален. На фронт Башмачкин попал по недоразумению. Так считала вся первая рота, упорно называя его без «д» — Башмачкин. Что думал по этому поводу рыжий мальчишка лейтенант Нагаткин, неизвестно, но случай с Башмачкиным произвёл на него такое сильное впечатление, что материться он стал, как совершенный сапожник. Да и у кого, признайтесь честно, от этих дел не съехала бы крыша?

Сам Башмачкин узнал о необыкновенных свойствах своей шинели три дня назад. Подгоняемый криком Нагаткина, с винтовкой наперевес он бежал к Любице и упал, отброшенный пулемётной пулей назад, и думал, что уже всё — умер. Полежав немножко убитым, он приподнялся на корточки и сначала пополз, а потом побежал вместе со всеми назад и свалился в траншею прямо на лейтенанта, который очень удивился живому Башмачкину. На следующий день Абрама Абрамовича убили уже два раза подряд: первый, когда он бежал к Любице, а второй, — когда обратно. Теперь вся рота ходила вокруг Башмачкинда, его дёргали за руки, хлопали по плечам, предлагали махнуть, в шутку, конечно, завидовали. Нагаткин лично исследовал шинель, но, кроме одной неуставной пуговицы, ничего странного не обнаружил. «Ни буя не понимаю!» — весело сказал он и, сдвинув набекрень шапку, доложил капитану о происшествии. Абрам Абрамович был доставлен к Печёнкину. Печёнкин выгнал всех из блиндажа и расстрелял шинель Башмачкинда, которая действительно оказалась непробиваемой. После дополнительного тщательного обследования Печёнкин потребовал шинель в обмен на «всё что хочешь».

Теперь, в роскошном полушубке Печёнкина, Башмачкин сидел, прислонившись к сырой стене, и думал: «Как это всё случилось?»

Они встретились в редакции «Огонька». Башмачкин принёс статью о Гоголе, и Владимир Германович Гомберг, разговорившись, пригласил его к себе в гости. Тогда Башмачкин увидел Машу и сразу утонул в её огромных чёрных, с длиннющими ресницами, глазах. Маше тоже понравился странный смешной Абрам Абрамович. Гомберг снял с полки два томика «Мёртвых душ» и рассказал историю с перезахоронением Гоголя. Это было в 1931 году. Владимир Германович, присутствовавший на эксгумации, не удержался и вырезал из сюртука классика кусок ткани с пуговицей. Тканью он переплёл «Мёртвые души», а пуговицу подарил Маше. Башмачкин ушёл от Гомбергов потрясённый рассказом Владимира Германовича и, конечно же, Машей, к которой потом не раз заходил в гости.

Башмачкин вздохнул, выудил из кармана ватных штанов лист бумаги, послунявив карандаш, написал: «Здравствуйте, Маша! Я не смог выполнить данное Вам обещание. Простите меня». Он подумал, дописал ещё несколько строк и сложил листок треугольником.

На рассвете с криком «ура-а-а!» батальон опять штурмовал Любицу. Абрам Абрамович бежал во второй цепи, тоже кричал «ура-а-а!», сжимая в руках винтовку. От станции длинными очередями стал бить пулемёт, и чёрные фонтанчики брызг рассыпались по белому полю. В первой цепи начали падать, вторая дрогнула. Абрам Абрамович, тяжело дыша, ткнулся лицом в землю. Рядом упал Нагаткин, но тут же заорал, озираясь вокруг: «Чего легли! Вашу мать! Вперёд!» Он встал на колени, выстрелил вверх и побежал, загребая снег большими ногами. Башмачкин бросился вслед за ним, задыхаясь и с хрипом втягивая в себя раздрающий горло воздух. Пули

свистели вокруг Абрама Абрамовича, пытаюсь попасть ему в грудь. Комья чёрной земли сыпались на него с неба, гарь забивала нос, грохот разрывов закладывал уши. Его обгоняли справа и слева, кто-то упал впереди него, и Башмачкинд с трудом устоял на ногах, успев увернуться. Передняя цепь уже подступала к окраинам станции, стали видны заваленные сугробами низкие окна домов и частокол огородов. Из траншей выбегали немцы. «Давай, славяне! В бога, в душу, мать!» — стонал капитан Печёнкин в шинели Абрама Абрамовича, стреляя в выкатившегося ему навстречу фрица. Башмачкинд вцепился глазами в спину Печёнкина и старался больше не выпускать её из вида. Он два раза падал, проваливаясь в воронки, вставал и снова бежал за своей шинелью, пока выскочивший откуда-то жирный немец не воткнул в него штык прямо под брезентовый ремень с медной пряжкой. Сразу стало вдруг тихо вокруг, и всё остановилось для Абрама Абрамовича. Он медленно сполз на колени, стал внимательно разглядывать свой живот, а потом завалился вбок с выпученными глазами.

К обеду Любига была наша. Батальон закреплялся на новых позициях. Командиры взводов опять ругались из-за жилья. Дымили походные кухни. Мёртвых пересчитали, раненых отправили в санбат. Башмачкинд пропал без вести. Как ни странно, но похоронная команда нашла только пробитый штык-ножом полушубок, в кармане которого лежало письмо, залитое кровью, и круглые очки в железной оправе. Тело Башмачкинда исчезло в неизвестном направлении, как будто его и не было.

Письмо и очки Абрама Абрамовича достались лейтенанту Нагаткину. Несколько с трудом разобранных слов: «...сибо» и «за ...уговицу...» — так возбудили его любопытство, что он решился поговорить с капитаном Печёнкиным. Хмурый Печёнкин послал его к чёрту, и вообще, был пьян беспробудно. Он играл на трофейном аккордеоне «О чём ты тоскуешь, товарищ моряк», а по ночам стрелял в небо трассирующими пулями. Шинель Абрама Абрамовича он не снимал даже в постели, а, просыпаясь, хлопал руками вокруг себя и, нащупав волшебное сукно, опять забывался коротким, беспокойным военным сном.

«Тук! Тук! Тук!» — постучались в штабную дверь.

— Кто? Кто там? — вскочил Печёнкин. Босые ноги прошлёпали по полу, скрипнула, открываясь, дверь.

— Это Башмачкинд, товарищ капитан, — испуганно сказал из темноты ординарец. — Вас требует... — добавил он жалобно.

— Совсем охренел! — заругался Печёнкин, взял кобуру и вышел на улицу.

Снег хрустел у него под ногами. Луна освещала двор. Огромный мёртвый Башмачкинд висел в воздухе и, улыбаясь, смотрел на капитана.

— Зачем ты украл мою шинель? — ласково спросил он и засмеялся совершенно дурным голосом. Печёнкин пытался вытащить из кобуры пистолет. — Не стреляй, Печёнкин, а то плохо будет, — сказал Башмачкинд и погрозил ему пальцем.

Печёнкин достал ТТ и несколько раз выстрелил в Башмачкинда. Башмачкинд печально вскрикнул и разлетелся на множество мелких шариков, которые, хихикая, как от щекотки, стали лопаться друг за другом.

Печёнкин вздрогнул, проснулся и, помотав головой, всхрапнул, как лошадь.

— Гогель-могель! — выругался он. — Башмачкинда сюда из первой роты! — крикнул кому-то в угол.

Ординарец вылетел из блиндажа, на ходу надевая шапку.

— Заснул, что ли? — подёргал Абрама Абрамовича за плечо лейтенант Нагаткин. — Давай бегом, Печёнкин зовёт.

Капитан Печёнкин вызывал его к себе уже во второй раз.

Михаил Кайдаш

Два рассказа

Письма из Энзели

Сухой, жёсткий воздух резал Острогову лёгкие. Стены и пол дрожали под натиском артиллерийских залпов. Сквозь закрытые дощатые ставни в комнату проникал утренний свет, было видно, как в лучах пляшут беспорядочные клубья землистой пыли. Под пушечными ударами они каждый раз пускались в новый бурный танец.

Гомону внутри помещения не удавалось заглушить внешний хаос. В углу комнаты беззубая старуха в тёмно-синем берберовском платье выкрикивала в пустоту бессмысленные оскорбления, перед ней стоял её сын, бородатый детина с разбитой губой. Губа — дело рук Лазарева, огрел его рукоятью револьвера, в дом пускаться не хотел. Жить захочешь — и не такое сделаешь, нечего двери запирать.

Лазарев в это время возился на полу с раненым англичанином, то и дело поправляя съезжающее с носа пенсне и вытирая замызганными рукавами вспотевший лоб. Англичанин дёргался, как жеребёнок со сломанной ногой, усложняя докторишке работу. Выглядел он неважно: от формы на нём были одни брюки, разорванная на груди рубаха, из плеча сочится кровь. Китель надеть не успел: снаряд влетел прямо в штаб. Повезло, что вылезти успел: Лазарев приметил и подхватил его у обрушенной стены и потащил за собой. Как добрались до какого-нибудь дома, так церемониться не стали: оборвали рубаху, и давай штопать.

Острогов не перестал дивиться Лазареву и его бесконечному спокойствию. Лицо его напоминало маску, не выражало ровным счётом ничего; он сосредоточенно ковырял у англичанина кортиком в плече, пытаясь достать осколок. Острогова же трясло, он разъярялся собственным бессилием всё сильнее с каждой секундой. За свою жизнь он боялся мало — больше переживал за жизнь Таты с базарной улицы. Он уселся под стеной, между приладил винтовку. От напряжения нога нервно дёргалась.

Мало-помалу грохот стихал, всё отчетливее звучал винтовочный и пулемётный треск где-то вдалеке: не то слева, где дорога из города, не то справа, где болото.

Михаил Кайдаш — преподаватель, прозаик, переводчик. Родился в Донецке в 2000 году. Закончил Донецкий Национальный Университет по специальности «Зарубежная филология», магистратуру Южного Федерального Университета по специальности «Теория перевода и межкультурная коммуникация». Публиковался в сборнике «Мастерская “Арзамас”» и журнале «Вернике и Брока». Организатор ростовского общества изящной словесности «Гетерия». Живёт в г. Ростов-на-Дону.

Острогов прижался к стене ещё сильнее. Так текли секунды, минуты. Может, часы. Каждое мгновение, проведённое в страхе и бездействии, равнялось вечности.

Англичанин перестал трепыхаться и затих. Лазарев шумно выдохнул, встал, неровным движением снял очки и разочарованно сплюнул.

— Это же мы сколько его тащили, а... — пробубнил он себе под нос.

В распахнутую настежь дверь влетел запыхавшийся гонец. Только влетел — и остановился, упёрся руками в бёдра и задышал, как пёс. С воротника кителя спадали тяжёлые капли пота, горлом он хрипел, будто преставится прямо здесь. В комнате появление гонца восприняли с воодушевлением. Его отправили в британский штаб разузнать, что произошло и что делать. Когда это было? Может, не больше десяти минут назад, а может, и в прошлой жизни. Отдышавшись, гонец густо сплюнул на земляной пол.

— Дрянь дело, дай Боже, полный развал. Англичане молчат.

— Как — молчат? — недоумевал Острогов.

— Как убитые молчат. Говорят, телеграф отрезали, связи никакой. Со всех сторон обложили. Чемпейн запросил прекратить огонь, пока ждём, — в глазах стриженного ёжиком гонца закипала злость. Грохот снаружи окончательно затих.

В комнате вдруг закончился воздух. Звуки все затихли, слышно было только как у Острогова в нагрудном кармане щёлкает потёртый брегет. Он вынул его из кармана, посмотрел на время. Часовую стрелку тянуло к девяти часам. Стрелять начали ранним утром, не позже пяти. Четыре часа бессмысленности и неопределённости. Он силялся, но так и не мог вспомнить, чем всё это время был занят и что за это время успело произойти.

— Петя, — обратился он к Лазареву, — иди в гарнизон, проверь, кто остался. Раненых на киржимы посадите и переведите на тот берег.

— А если по ним стрелять начнут?

— А их лучше здесь оставить? Выполнять, — зло покосился Острогов.

Лазарев поправил китель, в последний раз наклонился к англичанину. Тот смотрел в потолок пустым, лишённым смысла взглядом. Грубой ладонью Пётр провёл по его глазам, опуская веки. Взглянул на Острогова, кивнул в сторону бездыханного. Острогов в ответ махнул рукой — свои найдут, пусть и забирают, мы здесь положенное сделали.

Прежде чем вернуться в гарнизон, Острогов пошёл на базарную улицу. Тревога душила здравый смысл, и он рассудил — решу, что с Татой делать, и тогда вернусь. В мгновение ока улицы Энзели наполнились людьми. То были не повседневные праздные толпы. Пыльные автомоторы стояли у нескольких домов, расхристанные пехотинцы-англичане сгружали в них ящики, набитые чёрт-те разберет чем: одни тащат оружие, другие — ковры, третьи вообще грузят клетки с вычурно-цветастыми попугаями. Недоумённым лицам вторила одежда. Хорошо, если хотя бы рубашки, большинство были голыми по пояс, с запylёнными белыми торсами. Офицера от солдата отличить возможно было только по выправке. Удивительное всё-таки качество: в одном исподнем держаться, словно ты стоишь на параде.

Где-то поодаль офицер отчитывал непальского субедара, за которым вилась вереница мужчин, женщин и детей с торбами и сумками. Кто-то решил бежать, побросав скарб, прочь из города. Дети жались к матерям, кричали. Из дальних глубин улицы было слышно, как гнусаво надрывался какой-то неведомый музыкальный инструмент. Острогов на ходу нервно теребил антабку потёртого ремня винтовки.

Со стороны моря опять закричали корабельные орудия. Бесперебойный гам голосов усилился стократ, мутно-бронзовые непальцы и индусы в грязных чалмах бросились врассыпную, расталкивая господ-офицеров. Улицы заволокло едкой бурой пылью, жгло нос и глотку, слезились глаза и забивались поры.

Секунда, две, три. В воздухе зашелестели снаряды. От надрывного грохоту у Острогова заложило уши. Футах в пятистах к небу поднялся пыльный столб, загораживая ясное майское солнце. Жить, жить, жить — заклокотало в голове у Острогова, на затылке вздыбились волосы. Тело как будто само собой решило замереть, ноги и руки одеревенели, даже лёгкие, и те — замерли. Дышать приходилось с ощутимым усилием, и каждый вдох наполнял грудь раскалённым грязным воздухом.

Острогов вскинул винтовку и вскочил в первую попавшуюся открытую дверь. В темноте расплывался человекоподобный силуэт, бронзовый, сливающийся с пространством — только два желтовато-белых глаза во мраке выдавали, что это человек. На Острогова бешеным взглядом смотрел раздетый по пояс непалец. Когда глаза чуть привыкли к темноте, его вышло рассмотреть чуть лучше. По тёмно-болотным брюкам было понятно, что он тоже военный. Оружия при нём не было — пыльный «энфильд» валялся в дальнем углу, рядом — разбросанны обоймы с патронами. Винтовку как будто достали для чистки, но вместо этого нашлись другие, более важные дела. Тёмная кожа непальца была изъедена черноватыми рывтинами.

Он что-то кричал Острогову — их языка тот не знал, за пару месяцев в Энзели он едва успел привыкнуть к английской речи. Но даже если бы непалец и говорил по-английски, то сейчас ни слова было не разобрать. От испуга Острогов вскинул винтовку и подвёл указательный палец к курку. Непалец метался, вскидывал руки, как будто угрожая. Острогов не понимал, что от него хотят. Знал только — пока обстрел не стихнет, отсюда он не уйдёт, хоть даже его и похоронят здесь. Опустить оружие он не мог, его как будто что-то удерживало. Он остервенело вцепился в цевьё винтовки и не спускал с непальца глаз.

На спине проступал липкий пот. Грубый материал кителя царапал кожу — Острогов надел его на голое тело, не успев найти ничего другого. Из темноты, не отрываясь и не моргая, в него вперились жёлтые белки глаз. Снова шелест. Снова разрыв. Земля под ногами заходила ходуном, казалось, всё, что есть сущего на свете, — всё подчинено воле этих звуков, этой бесконечной симфонии разрушения, и Острогову места в ней нет, ему дано только подчиниться. Палец соскользнул и вжался в курок.

Непальца отбросило к стене. Брызнула кровь — в темноте она казалась практически чёрной. Обессиленное тело подломилось в ногах, прижалось к стене и сползло на пол, оставляя за собой загадочную абстрактную композицию.

* * *

Обстрел закончился через несколько часов. Стихли выстрелы где-то за чертой города. Острогов смиренно сидел, потирая перевязанную уже затвердевшим от сухой крови бинтом голову и смотрел из окна на море.

До Таты он так и не добрался — не дошёл каких-то трёхсот метров. Аккурат к его приходу на базарную улицу прилетело несколько тяжёлых, глупых болванок. Где Тата, что с ней, он не знал. Её судьба, как, собственно, и его, была отдана на откуп силам, с которыми соревноваться он не мог. Да уже и не хотел.

Там же его и ранило, по той же идиотской случайности — в голову попал шальной камень, отлетевший от стены. Неглубокая, несерьёзная рана, но из-за крови его приняли за едва ли не умирающего, перевязали и увезли в штаб. Последний снаряд

того дня пришёлся на тот самый дом, у которого его ранило. Не отвезли бы — так Острогов бы и остался там.

Англичан в городе не осталось — ушли, забрав с собой все автомобили, грузовики, а заодно прихватив замки от береговых орудий. Непальцы ушли за ними, таща свои пожитки на сутулых спинах ослов. Ослов, потому что лошадей тоже забрали англичане. Почти все русские ушли на лодках через залив. В городе осталось не больше двадцати человек, хоть как-то напоминавших солдат, и все они собрались в гарнизонном штабе.

Штаб больше напоминал бедлам. Разгорячённый Лазарев громко спорил с двумя усатыми моряками, уже не было понятно, о чём: то ли о ахалтекинских скакунах, то ли о кислых щах, то ли о красном наступлении. Пристроившиеся у стола какофонически скребли ложками о днища мисок и сосредоточенно хлебали похлёбку. Заводили песни, кто-то вразнобой играл на украденном в суматохе гайчаке.

Море было наплевательски спокойным, как будто для него и не было всего, что сегодня произошло. Низкие волны гуляли по нему, поблёскивая отражённым майским солнцем. Острогов устало заплакал.

Почему слоны не живут в степи

Проснулся я уже поздним утром. За ночь мы успели проехать всю степную часть нашей дороги и добрались до гор. Ещё не гор, вернее, просто до холмов, для меня же — всё едино. Ничего выше терриконов в жизни я не видел. Природа и города очаровывали меня в равной степени, но по совершенно разным причинам. Природа в сути своей бесконечно хаотична и подвластна только ей одной понятной структуре. Города же пленяют механистичностью, осмысленностью, з а д у м а н н о с т ь ю. Голова тяжелеет от осознания причастности человеческой воли к монструозным нагромождениям кубов и пирамид, которые мы умудрились приспособить для своей жизни.

Уронив голову мне на плечо, рядом спал командир. Громкое слово, пожалуй, слишком громкое для этой миниатюрной девчушки с бледными губами в тон коже, но против устава не попишешь. Глянул на экран телефона: связь уже практически пропала. В «сообщениях» остывало прощальное послание: напиши, когда доедешь. Дословно, думаю, не выйдет описать чувства, которые возникли у меня, когда я взглянул на него. Как чувствует себя человек, которого утянул в чащу леса блуждающий огонёк?

В наушниках звенела «Винтеррайзе» Шуберта. Кто-то скажет, что не самое подходящее сопровождение для майской жары. Я соглашусь. Соглашусь и добавлю, что я промахнулся не только с выбором самой музыки, но и с её исполнением. Брендель слишком грубо играет Шуберта, слишком механически и жёстко. Нужно было скачать Йонаса Кауфмана.

Во второй половине дня ярко засияло солнце. Приехали мы к полудню, и горы были затянuty плотной дымкой — дымкой ли? Любoй человек испытает бурю эмоций, когда увидит, как облака целуют землю. У меня перехватило дыхание. После этого я отошёл в ближайшие кусты и многозначительно проплевался: на середине дороги у меня сменился сосед, и от нового попутчика исходило исключительное амбре из дешёвой водки и бродящего апельсинового сока. Впрочем, это никак не умаляет красоту, увиденную мной. Сейчас же, спустя несколько часов, когда мы поднялись

на пару сот метров выше и, наконец, заселились, вышло солнце и дало шанс во всей красе рассмотреть горы. Связи не было, теперь уже окончательно. Я с ощущением глубокой безнадежности смотрел на послание.

К исходу первого дня все разбрелись по компаниям. Меня утащили к себе в один из домиков, преимущественно заселённых девушками. Единственные исключения: мой давний знакомый Дёма и его товарищ в подозрительно военной форме. На территории у нас полный запрет на алкоголь. У меня же в сумке бутылка вина и литр синеватого джина. Среди моей компании идут перешёптывания, что в каком-то далёком уголке нашего пансионата есть место, где ловит Мегафон. У меня же МТС. Очередная насмешка судьбы.

Однажды моя девушка рассказала степную сказку о том, как слон пришёл к волку и попросил научить его охотиться. Волк пообещал отвести его в охотничьи места, да только боится, что слон сбежит. Слон предложил волку обвязать шеи друг друга верёвкой, чтобы не потеряться. Волк согласился и повёл слона в амбар с овцами. Там, услышав лай сторожевых собак, слон испугался, чем насмешил волка: «Такой огромный, а собачьего лая боишься!». Слон это хотя и услышал, но уже со всех ног мчался из амбара, и верёвка перетянула волку шею. Волк от боли скорчил страдальческую гримасу. Слон обернулся, увидел это, и подумал, что волк над ним всё ещё смеётся, и в отместку побежал ещё быстрее. Так в итоге слон и придушил волка насмерть. С тех пор слоны в степях не живут.

Всё ещё не понимаю, что это должно значить.

На исходе второго дня все собрались в женском домике. Я пришёл по приглашению своей новой знакомой. Её хоть сейчас на плакат с пропагандой чистоты арийской крови — с её нежно-голубыми глазами и пшёнными волосами. Я уже был достаточно пьян, чтобы вести светские беседы и не чувствовать себя бесполезным придатком компании. Моя новая знакомая примостилась у меня на коленях и визгливо смеялась моим до боли бессмысленным шуткам. Неподходящий смех для её контральто. Шуберта с таким, конечно, всё равно не споёшь.

Мы устроились в беседке поодаль от остальных и курили. Небо было ясным, как бесконечное чёрное полотно, закрывающее огромный фонарь. Мы долго и бессмысленно говорили на разные темы. Разные темы алогичным образом постоянно сводились к сексу. Помню, она сказала, что любит, когда партнёр имитирует её изнасилование. Ну что ответишь? Я не нашёлся. Подумал только, что она похожа на сорокопуга: крохотное создание, чуть больше воробья, но исключительно плотоядное. Когти у него маленькие, поэтому он хватает свою добычу и кидает её на шипы.

Когда мы спускались из беседки, я подал ей руку, чтобы она не поскользнулась. Руку после этого она не отпустила. Ощущая немое напряжение, я всё-таки нашёл в себе силы сказать: не обижайся, ты очень приятная и милая, но у меня есть девушка. Она ответила: всё нормально, у меня есть парень. Руку она всё ещё не отпускала.

Мы расположились на скамейке возле огромного, в половину моего роста, золочёного бюста Ленина. Я сидел на мокром дереве, она сидела у меня на коленях. На нависшем над нами чёрном полотне всё так же поблёскивали звёздные прорехи. Тёмными силуэтами на горизонте виднелись исполинские горы. Знаешь, я очень хочу тебя поцеловать, — вот, что она мне тогда сказала. Как бы это ни было неправильно, мне этого тоже хочется, ответил я.

Я тебя поцелую, если ты загадаешь загадку и я на неё не отвечу.

Секунду я помедлил, прикидывая шансы на то, что моя новая знакомая на самом деле горный тролль из европейских сказок. В этот раз я нашёл, что ей ответить.

Почему слоны не живут в степях?

Я всё ещё до конца не был уверен, хочется ли мне добиться поцелуя, или же я искренне хотел узнать ответ на этот вопрос. В ответ она только рассмеялась и впилась в мои губы. Это было жадно и долго, бесконечно долго: так ощущается дорога в никуда.

За окном падали грубые хлопья снега, засыпая собой дороги и тропинки. Хотя, казалось бы, какой может быть снег в мае? Я сидел на крыльце своего домика и курил. Курить на территории пансионата запрещалось. У меня же во рту дымилась извлечённая из закровов последняя папироса. Остальные расстреляли строители прошлой ночью.

За завтраком подали сосиски в тесте и местный домашний сыр. Наверное, в жизни я не ел с таким аппетитом. После завтрака отправились в поход. Весь поход мы с моей новой знакомой сохраняли благоговейное молчание — из стыда ли, или, наоборот, из определённого чувства гордости и такта. Держались на расстоянии: молчаливый уговор определил его как «минимум два человека между нами». Я разговорился с её подругой, миниатюрной башкиркой. Теперь я знаю, как по-башкирски будет «красивая луна». Всю дорогу я проверял телефон. Связи не было.

Привал мы устроили у трёх по-чеховски названных водопадов. Борясь со стеснением, я подошёл к своей знакомой. В голове, конечно, я отрепетировал, как должен звучать наш разговор. Всё было идеально, я сохранил лицо и не выглядел в её глазах полным животным. Но, подойдя к ней, смог сказать только одно.

У тебя же связь здесь ловит, да? Дай написать сообщение, пожалуйста.

Во взгляде у неё заиграли нотки разочарования и презрения. Она протянула телефон. По памяти набрал номер и отправил дежурное сообщение: я живой, всё хорошо, связи нет, будет время — позвоню. Вернул телефон. Она, не говоря ни слова, выхватила его у меня и отвернулась.

Зато теперь я знаю, почему слоны не живут в степи.

Олеся Варкентин

Нурия апа

Рассказ

Проводница Альбина заранее договорилась с Валентиной из соседнего вагона, чтобы та встретила на следующей станции её пассажиров. Самой Альбине на этой станции нужно было к мужу, начальнику встречного поезда, чтобы пересадить свекровь.

Нурия апа¹ в свои девяносто кочевала из поезда в поезд от снохи к сыну. Одна дома оставаться она боялась. Словно ребёнок, могла выйти на улицу и заблудиться. А у Альбины с мужем часто рейсы совпадают, и не на кого стало Нурию оставлять. Вот и решили они тогда до отпуска возить её с собой. Часть пути едет в одну сторону, часть в другую. Уже байки про этот маршрут стали ходить. Мол, завелась домовушка-старушка, пассажирам в глаза заглядывает и просит кипяточка да хлебушка. Пока сноха и сын работают, она незаметно ускользнёт из купе, и ищут её потом всем скопом, не поездка — приключение. Условились тогда муж с женой перед пересадкой запирать Нурию, чтобы не искать по всему поезду. Служебное купе для этого оказалось самым подходящим местом: оно закрывается на ключ снаружи, а внутри есть и стол, и сиденье — удобно.

Перед Тюменью — санитарная зона. Альбина сводила Нурию в туалет, помогла ей умыться и переодеться. Потом усадила рисовать, налила горячего чаю и подала печенье «Юбилейное». Пока Нурия отвлеклась на чай, Альбина закрыла двери в купе, чтобы успеть разбудить тех, кому выходить, бельё и посуду принять да и самой к пересадке подготовиться.

Поезда Москва — Владивосток и Владивосток — Москва пересекаются в Тюмени. Поезд из Владивостока прибывает на пять минут раньше поезда

Варкентин Олеся Маннуровна родилась в 1978 году в городе Салехарде, где живёт и сейчас. Окончила Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского по специальности «библиотекарь-библиограф». Студентка 3-го курса Литературного института им. А.М.Горького. Работает старшим научным сотрудником музея Салехарда. Участвовала в проектах АСПИР. Автор сборника «Вдруг рождается стих...» и книги «Сон Тёти Моти». Печаталась в журналах «Наш современник», «Литературный Омск», «Северяне», в альманахах и коллективных сборниках.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Апа — высокоуважаемая и почитаемая женщина в татарском обществе. Означает «мать», «бабушка».

из Москвы, одновременно находятся они на станции всего десять минут. Тюменский вокзал не самый удобный: столько платформ, путей, переходов, не сразу сообразишь, куда идти. Поэтому Альбина заранее собрала вещи свекрови, приготовила бутерброды. Положила в сумку раскраски: страсть как свекровь их полюбила рассматривать да зарисовывать. Сменное бельё положила, носки тёплые — на станции Ишим купила. Подошла к служебному купе — ключ в дверях. Забыла, видно, закрутилась. Открыла — никого.

* * *

— Чистое наказание, — возмутилась Альбина и кинулась по вагону. — Уважаемые пассажиры, никто моей бабулечки не видал?

А никто и не видал. Ночь — все спят. Альбина туда-сюда по вагону пробежалась — нету. Вернулась в купе, вот тебе раз: сидит, горемычная, в уголочке, прислонилась к стенке, рукой голову подпёрла и в окно уставилась.

— А-а-а, вот ты где, — Альбина выдохнула. — Ну хорошо, хоть людей не придётся тревожить, как в прошлый раз. — И заботливо добавила: — Mamka, я тут тебе носки тёплые прикупила, как к Раифу сядешь, сразу надень, у него холодно, а не то замёрзнешь. Слышишь? — Альбина посмотрела на свекровь. — Чего притихла-то? Или обижаешься?

Нурия молчала, смотрела в окно, на сноху ноль внимания.

— Ну молчи-молчи... — в сердцах сказала Альбина, застегнула замок сумки и поставила её рядом со свекровью. — Будто я виновата, что тебя одну дома не оставит. Будто мне нравятся эти твои прятки по вагонам... перед пассажирами извиняться, да и вообще... — Альбина едва сдержалась, чтобы не высказать всю обиду на мамку и её сына, загулял на старости лет.

Дверь в купе открылась, в проёме встал полусонный вахтовик.

— Мне бы... э-э... водички. — Он дыхнул перегаром.

— На вот, — Альбина сердито сунула ему в руку стакан в подстаканнике. — Ну, чего встал? Иди. Вон вода-то.

— А-а, м-м, — мямлил вахтовик, позвякивая подстаканником и указывая в угол. — Старуха-то, кажись, того... — Он не договорил, поднял руку ко лбу, уронил к животу.

— Чего?

— Преставилась, похоже, матушка, — продолжая креститься, заключил он.

Альбина медленно повернулась и посмотрела на свекровь: та всё так же сидела и не мигая смотрела в окно. В стекле отражалось перекошенное от злости лицо.

— Иди ты, напугал! — Замахала на вахтовика Альбина. — Живая она, чё ей делается, просто сердится, вот и отвернулась.

— Э-э... я открыл дверь-то, а она... фьить в тамбур, а там дубак... — он не смог выговорить полностью.

— А вы все без спросу лезете в служебное помещение?!

Вахтовик махнул рукой и прошлёпал босиком к титану.

Альбина закрыла дверь, надела тёплую жилетку, подвела губы помадой, глянула в зеркальце — уставшая — и набрала коллегу:

— Валюш, ну так мы договорились? Примешь моих пассажиров, пока я мамку пересажу?

Поезд качнуло, и Нурия стала заваливаться на постель. Альбина поспешила подхватить её, выронила телефон, но, едва коснувшись плеча свекрови, отдернула руку — холодное.

* * *

— Валя, Валюша, — подняла Альбина телефон и сдавленным шёпотом продолжила, — ты меня слышишь? — Всхлипнула. — Зайди ко мне сейчас, срочно.

Валентина появилась через минуту, окинула купе взглядом:

— Вот этого-то я и боялась!

Вынула из аптечки нашатырь и поднесла каждой поочерёдно. Альбина закашлялась, чертыхнулась, а старушка не шелохнулась.

— Так, — руководила Валентина, — не реви, одевай её. Только трупа нам не хватало! — Она посмотрела на ручные часы. — Остановка через три минуты. Высадишься тихо, и с мужем сами решите, что дальше. А нам такая история ни к чему. Начнутся вопросы-расспросы, как да зачем...

Альбина размазывала слёзы, те всё никак не останавливались. Ослабевшими руками натянула она на свекровь куртку, повязала платок, зачем-то побрызгала духами.

Поезд остановился. Предприимчивая Валентина организовала высадку: привлекла неугомонного вахтовика достать из рундука¹ в её вагоне коляску и помочь спустить старушку. Вскользь пояснив, что, мол, поплохело бабушке, в больницу повезём.

Через несколько мгновений Альбина катила свекровь к виадук и внимательно вслушивалась в непонятное бульканье громкоговорителя. Сообщалось о прибытии поезда из Москвы, но, на какой путь, Альбина не расслышала.

— Бедный Раиф, как я ему сейчас мёртвую мать передам, что скажу? Ещё меня и обвинит в её смерти. — Мысли так и скакали. — А мамка-то совсем как маленькая сделалась, малютка, да и только. Всё раскраски у меня просила, карандаши новые да хлебушка. — Альбина остановилась. — Прости меня, мамка. — Она прижалась щекой к голове свекрови. — Прости...

— Альбина Петровна, Аля!

Она вздрогнула, но тут же узнала голос помощника мужа, Николая.

— Вот вы где! — зачастил Николай. — А меня Раиф Габдуллаевич отправил помочь Нурию апа встретить. Сам-то он сейчас занят, у нас там пьяный дебош, разбираются.

— Коля! — вскинулась ему навстречу Альбина. И запричитала: — Ой, Коля-а, что теперь будет-то?

— Да чего? Впервой, что ли, — Николай взялся за ручки коляски. — Разберутся. А мы поспешим, нам на второй путь надо. Лифт не работает, по подземке пойдём, а это во-он какой крюк!

Он развернул коляску, прибавил шаг. Альбина засеменяла рядом, перекидывая из руки в руку сумку. Нурия всё время скатывалась вниз, и им приходилось останавливаться, усаживать её снова.

— Нурия апа, чего накуксилась? — Николай, не дожидаясь ответа, поспешил обрадовать: — Сегодня сын ваш распорядился в отдельном купе постелить, до самого Омска никого не будет. Одна, как царица, поедете. Согреетесь, там так тепло! — Николай подкатил Нурию до нужного вагона и свистнул.

Двери открыл второй помощник, и они вдвоём внесли коляску.

— Альбина, давайте сумку-то. — Снова высунулся Николай. — Да бегите скорее, ваш поезд скоро отходит.

Альбина протянула сумку.

¹ Рундук — ящик под нижней полкой для хранения багажа.

Евфросиния Капустина

По большой воде

* * *

говори со мной, босоногий сибирский Бог,
я хочу в Тебя верить, хочу, чтобы Ты помог
на Тобол заглядеться в эту цветную рань,
белым, красным и розовым пухнет в окне герань,
кошка нюхает всё да пробует на зубок,
дедов пёсик укрылся в будке, уткнулся в бок,
говори со мной гулко, ветрено, будто май,
говори со мной, Господи, только не отнимай
эту жидкую кашу снега, дождя, дорог,
эти санки, в которых мой папка меня волок,
эту липкую воду, льющуюся за край,
Бог Господь, и явился мне... верую, принимай.

* * *

июньский лёд на правом берегу,
на выцветшем, на северном, на летнем.
и я по нём бегу, бегу, бегу
испуганным, испачканным, трёхлетним.

и падаю, пугаюсь и реву,
и колокол колышется к обедне...
но это сон и где-то наяву
глядит его моё тридцатилетье

и дедушка кричит меня в саду,
и ба его ругает, как живая.
всяк человек живёт в своём аду,
и выживает.

Капустина Евфросиния Игоревна — поэт, прозаик. Родилась в 1997 году. Работает фотографом. Печаталась в «Российской газете», в альманахе «Литературный Санкт-Петербург» и других. Участница Форума молодых писателей «Липки» (2023). Финалист Международной премии имени А.С.Пушкина «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

* * *

И навовсе мне нечего тутъ бояться.
По весне плывут дед Мазай да зайцы,
подбирают всех.
Стариковский смех
обещает чаю и одеяльце.
Ну, давай же, родная, на берег пяться.
По большой воде дед Мазай со станции
приплывёт за мной, за промокшим зайцем,
повезёт наверх.
Вены русских рек
по весне разрезаны и гноятся.
Не боись, починим. Держись-ко пальцами.

* * *

это здесь, на Каме да на реке,
это здесь по камешкам, по клубочкам
вырастают бивень и чья-то дочка,
кошка нос измазывает в муке

вечер пишет клюквой на маяке,
череда с ромашкой да кипяточком
спи, моя хорошая, спи в носочках
колыхают-зыбают моряки

поклонись на солнце да на руке,
возвернёшься — справим семью и точка
тараторкой метит сорочку строчка
да дочурка возится в гамаке.

* * *

И цветёт розмарин, и орут коты,
Месяц-люлька качается в чёрном небе.
Мы — Господня земля и её плоды,
созреваем под птичий ночной молебен.

И даём своё семя любой земле,
Прорастаем неистово, густо, вешне.
Это к нам Бог спускается на вьюне,
Посмотреть, как коты теребят орешник.

* * *

капли крови да смятая простыня
вот и всё, что останется от тебя
вот и всё, что останется от любого
после скорости, тряски и лобового

мокрая трава, земляника киснет
это всё останется после жизни
это всё останется дольше памяти
просинью над лесом, закатным знаменем

бурая рванина твоя рубаха
земляничный сладкий тягучий запах
вот и всё, что останется в этом поле
вот и всё, и тихо, ни слова более

* * *

и покуда в дому тепло
береги нас, Мать,
в новом годе белым-бело,
да шаги слышать

и течает, да в полымя,
напужавшись, снег
в красных клюковках простыня,
чей-то да ночлег

и пушай поглядит во сны,
ты не плачь, не вой
повалается до весны
и придёт живой

со щитом али на щите
воин, муж, сынок
пробудится да в животе
красных ягод сок

в новом годе белым-бело
смерти неимать
и покуда в дому тепло,
не рыдай мне, Мать

* * *

По большой воде, по небесной глади
Приплывёт, поможет тут всё наладить.
Привезёт семян, здоровей, чем наши.
Пепельным туманом на поле ляжет.

По весне как будто б и жить терпимо.
Разразится тёплым коровье вымя,
Разродится рожью сухое поле.
Будет хорошо. И светло. Без боли.

Зайтуна Ареткулова

Памяти моего послевоенного детства

Воспоминания татарской девочки

Дедушкин тарантас и бабушкины козы

Моя мама развелась с отцом, когда мне было три месяца, а вскоре вышла замуж вторично и переехала в Стерлитамак. А я осталась на попечении бабушки и деда, работавшего директором промкомбината в селе Петровском. Нет, не то чтобы я была им подброшена, инициатива исходила от них самих. То был первый послевоенный год, и в памяти у них ещё свежа была рана от потери на фронте их любимицы, старшей дочери Зайтуны, в честь которой меня и назвали. Так что мне надлежало заполнить эту брешь и вернуть в дом навеки умолкнувшее имя.

Село Петровское, где приоткрылась для меня завеса, отделяющая сознательное от бессознательного, расположено в равнинной части Башкирии, на берегу мелкой речушки Шига, впадающей за селом в полноводный Зиган, и окаймлено с трёх сторон полями, а с четвёртой густым лесом, тянущимся до самых предгорий Урала. Но село не башкирское и не татарское, а преимущественно русское. Так что я росла двуязычной: дома говорили на татарском, сверстники на русском. Но с годами последний, увы, сильно потеснил первый.

Детская память имеет не связный характер, а работает как бы отдельными вспышками. Вот одна из таких вспышек. Летний солнечный день, Наркиза апа, моя юная восемнадцатилетняя тётя Аня, прибежала в обеденный перерыв с работы на молочном заводе. Торопливо ест, что-то рассказывая и залиvisto смеясь, и исчезает. Дедушка появляется чуть позже, в тарантасе, запряжённом старенькой лошадей. В ожидании его я сижу на своём наблюдательном посту на наших воротах, откуда мне видно почти всё село. Завидев тарантас, я спрыгиваю с ворот и со всех ног бегу босиком по большому лугу ему навстречу. Лошадь останавливается, и дед подхватывает меня

Ареткулова Зайтуна Биктимировна родилась в 1945 году в Ишимбае. Воспитывалась в семье деда, старого большевика, ветерана трёх войн. Окончила медучилище, работала участковой медсестрой, а затем лаборантом на заводе синтетического каучука (Стерлитамак), совмещая работу с учёбой на вечернем отделении Уфимского нефтяного института. В 1972 году переехала в Москву. В постперестроечные годы принимала участие в работе Комитета солдатских матерей России. В 1998-м переехала в Германию. Публиковалась в немецкой русскоязычной прессе: «Поезд памяти» — о детях, погибших в жерновах Холокоста, «На братских могилах не ставят крестов» — о захоронениях советских воинов во Франкфурте, и др.

своими сильными руками, усаживает к себе на колени и даёт мне в руки вожжи. Я в восторге кричу «пошёл», и лошадка трогается. Точно так же я встречаю его и вечером после работы.

А сколько он знал сказок, мой дед! Я не раз засыпала у него на плече под истории о Шурале, о прекрасных принцессах, о шайтане и Бабе-Яге, о храбром джигите и его крылатом коне...

А грамоте меня обучила бабушка. Вот мы сидим с ней зимой на тёплой печи, освещаемой керосиновой лампой, и выводим мои первые буквы. Рисуем домики с садом или лепим из чёрного, смешанного с глиной, хлеба фигурки разных лесных зверюшек. Ни бумаги для рисования, ни пластилина у меня не было. Рисовали на обёрточной бумаге или на дощечках. На этих же дощечках бабушка учила меня азбуке, выводила буквы химическим карандашом, а потом их соскребая.

А на дворе метель. Какие бураны бывали в наших краях, какие вьюги с разнопением ветров, дующих с такой силой, что казалось, наш дом вот-вот сорвётся с места и растает в снежной мгле! Дома темно, сквозь окна не видно улицы, одно буйство ветра, снега и тьмы. Лишь керосиновая лампа и неостывшая печка создают уют. Смолкли даже сверчки за поленницей. А на утро — вселенская тишина. Плотный, нападавший за ночь снег застелил окна. А откроешь двери сеней, и снег ломится внутрь, так что не пройти сквозь его толщу. И чтобы выйти, дед прорывает в снегу туннель, глубокий и длинный.

А на улице всё сверкает. Высоченные сугробы намела метель, под которыми только угадываются заборы. А дома — как снежные горы с торчащей из них печной трубой. По плотному снегу можно взобраться на крышу дома и скатиться с него, как с горки.

Постепенно появляются признаки жизни. В других дворах тоже раскапываются туннели, расчищаются окна, и дневной свет проникает внутрь дома. И вот уже любопытные козы, упираясь мордочками в стекло, заглядывают к нам в комнату. Их копытца на уровне форточек. Но разгрести снег до конца невозможно, да и не нужно — всё равно заметёт опять. А пока только поскрипывание снега под ногами да сверкающая белизна. И радость от карабканья на крышу и от снежков, забрасываемых внутрь печной трубы. Но это запрещено, за это могут и наказать.

А ещё запомнилась мне зима 1949 года, когда я попала в больницу со скарлатиной. Может, потому что в ту зиму играли свадьбу моей тёти, а я её пропустила. Но зато я запомнила, как навестили меня в больнице молодожёны. Мы общались через заиндевевшее стекло (больница была инфекционная), и что-то они мне кричали, но сквозь двойные рамы я их не слышала. Остались в памяти только их счастливые, улыбающиеся лица. А когда я вернулась домой, Наркизы уже не было. После её переезда в Стерлитамак, где жил её муж, наш дом показался мне осиротевшим. Все вещи были на своих местах, так же тикали часы, но не было заливистого смеха Наркизы, её торопливых шагов, её звонкого голоса. И это было моё первое детское ощущение невозвратимой потери.

* * *

Каждый год на исходе зимы в нашей избе появлялась разная живность. Сначала это была коза с новорождёнными козлятами, которая заводилась в дом в первую ночь после окота и своим телом обогревала детёнышей. Наутро козу отправляли в сарай, но она постоянно сбегала оттуда и блеяла под окнами. И поверх сугробов было видно, как коза тычется мордочкой в стекло, требуя, чтобы её пустили. Бабушка несколько раз

в день впускала козу покормить козлят. А когда они подросли, их привязывали в углу избы, где висели берёзовые веники, которые они обгладывали дочиста. Время от времени козлят отвязывали, и начинался цирк. Вихрем носились они по дому, прыгали на стол, на сундук, на кровать, на которой они скакали, как на батуте. И надо было следить, чтобы вовремя их согнать (могли и написать в постель). А когда у них намечались рожки, они начинали бодаться друг с другом или пытались боднуть меня. Однажды козлёнок так ловко меня боднул, что я полетела в раскрытый подпол, куда бабушка спустилась за картошкой.

Если с козлятами было весело и жаль расставаться, когда их переводили в сарай, то с гусями дело обстояло сложнее. В наш дом заносили трёх-четырёх гусынь для высиживания яиц и размещали под кроватью в широких плоских корзинах. И стоило мне пройти мимо кровати, как раздавалось угрожающее шипение. Они вылезали из своих корзин, только чтобы попить и поесть. И тогда мы с нашим котом взбирались на сундук и ждали, пока гусыни займут места под кроватью.

А недели через две раздавался писк вылупившихся гусят, и их выносили во двор, под наблюдение родителей. И пока гусята были маленькими, я боялась высунуть нос из дома, так как гусыни тут же с грозным шипением бежали в мою сторону. Но если в небе появлялся коршун, а на него тут же реагировали гуси, мы с бабушкой вооружались длинными хворостинами и размахивали ими до тех пор, пока хищник не улетал прочь.

* * *

Поскольку село было по преимуществу русским, то православные праздники отмечались у нас с большим размахом, и мы старались не отставать от других. На Масленицу бабушка пекли блины, а на большом лугу против нашего дома устраивались санные карусели. Как хорошо было, вспрыгнув на бегу в несущиеся санки, кружиться, кружиться до изнеможения, пока бабушка не позовёт домой.

Не могу не упомянуть и ещё один праздник, который не был привязан ни к какому времени года. Это были выборы. Мне они запомнились потому, что в этот день дедушка надевал свою тщательно отутюженную гимнастерку с орденом и медалями. И когда он, оживлённый и улыбающийся, возвращался с избирательного участка, у него под мышкой непременно были зажаты две белые буханки с поджаристой коричневой корочкой. Их упоительный аромат наполнял собою весь дом, и я с жадностью набрасывалась на хлеб, потому что знала: до следующих выборов я его не увижу.

В середине июня начинались заготовки к зиме. В ближайшем лесу распиливали берёзовые стволы и вязали берёзовые веники — для себя (для бани) и для коз с козлятами. Пока взрослые занимались заготовкой дров, я собирала землянику, чтобы угостить ею жившую с нами мою старенькую прабабушку Санию. Заготавливали также калину, рубиновые кисти которой подвешивались до первых заморозков на чердачных стропилах. Из этой калины бабушка делала замечательно вкусную пастилу, чисто деревенское лакомство, незнакомое городским детям.

А вот добычей лесных муравьёв, кроме нас с бабушкой, похоже, не занимался никто. Выходили мы на этот промысел с литровой банкой, смазанной изнутри растительным маслом, которое очень нравилось муравьям. Выбрав муравейник побольше — таких громадных, в рост человека, как в Башкирии, я не встречала больше нигде, — мы погружали туда нашу посудину. Дождавшись, чтобы она заполнилась, мы закупоривали её и ставили в горячую печь. Муравьи погибали, выделяя кислоту,

которая затем процеживалась и переливалась в пузырёк. Вот эта тягучая, остро пахнущая жидкость и шла в дело как лекарство от радикулита.

Вообще, болезнь поясницы — проклятье всех женщин, занятых тяжёлым деревенским трудом. Но как взрослому человеку дотянуться до своей поясницы? И тут не обходилось без моей помощи. Смазав бабушкину поясницу муравейным маслом, я массировала её, топчась по ней босыми ногами. И она же научила ставить банки, доверяя мне, пятилетней, орудовать горячей лучиной, что сегодня уже трудно представить.

Одно лето я посещала детский сад, что был неподалёку от промкомбината, где директорствовал дедушка. Пользуясь этим, я частенько сбегала оттуда к нему на работу. И если в его кабинете проходило совещание, то при моём появлении оно сразу прерывалось, а я, не обращая ни на кого внимания, бросалась деду на шею. Извинившись, он прерывал совещание и отводил меня обратно в сад, сдавая напуганным моей пропажей воспитательницам.

Утром в детский сад я обычно шла сама. На моём пути встречалась мелководная Шига, и там, под мостом, всегда было полно лягушек. Здесь я задерживалась: моё внимание привлекали лягушки. Выловив двух-трёх, я сажала их в свои тапочки и отправив в плавание вниз по течению, продолжала свой путь уже босиком. В конце концов, бабушке с дедом надоели мои фокусы, и они забрали меня из сада.

А вот ещё сценка из моих летних воспоминаний. Мы с бабушкой идём встречать стадо, с которым возвращаются наши козы. Во главе стада, как и положено, идут быки, за ними коровы с телятами, а затем овцы и козы. Войдя в село, стадо разбредается по своим дворам, в том числе и наши козы. Их легко было отличить — это была крупная оренбургская пуховая порода, и бабушка ими гордилась. Но одна из коз была какая-то непутёвая и, прошествовав мимо наших ворот, продолжала свою прогулку по селу. Поэтому, заведя во двор трёх самых «дисциплинированных» коз, мы отправлялись на поиски беглянки и часто находили её уже в сумерках. Завидев нас, она с блеяньем бежала нам навстречу, словно бы чувствуя свою провинность.

* * *

Накануне моего семилетия бабушка начала готовить меня к школе. Шилась школьная форма, заказывались кожаные сапожки, покупался портфель. Однако радость этого моего торжественного дня очень быстро улетучилась. Дело в том, что то был первый послевоенный набор, и наш единственный первый класс оказался переполненным, а за партами сидели сразу по трое. И тогда решили отсеять всех, кому на 1 сентября не исполнилось семи лет. В их числе оказалась и я, чей день рождения приходился на конец месяца, и нашему с бабушкой горю не было предела. Ведь к тому времени я могла уже бегло читать, считать до ста, вычитать и складывать. Обратились к дедушке, который, используя свой «административный ресурс», мог бы настоять, чтобы меня приняли. Но он счёл это недостойным, как вообще не признавал никаких обходных путей и блага.

Вот так и случилось, что мой первый школьный день оказался «фальстартом». А когда я села за парту на следующий год, то одолела букварь за две недели, и мне стало скучно. И пока мои одноклассники скрипели перьями, старательно выводя буквы и составляя из них слова, я крутилась за партой, дергала за косички соседок или от нечего делать подкрашивала чернилами беленькие завитки сидевшей впереди меня девочки с копной вьющихся пышных волос. Вероятно, я ей завидовала, потому что бабушка каждое лето стригла меня наголо, считая, что от этого волосы лучше растут. В конце

концов терпение учительницы кончалось, и она ставила меня в угол. Не помню, сколько раз стояла я в этом углу, но страшнее, чем наказание, были для меня хранившиеся там человеческие муляжи с оголёнными рельефными мускулами. И сколько с тех пор минуло лет, а страх этот все ещё живёт в моей памяти.

Солдат партии

Мне трудно представить свои ранние годы без бабушки Хатимы и дедушки Рахматуллы. Без них моё детство было бы, наверное, совсем другим, да и я была бы другая. Но и их закатные годы без меня тоже сложились бы по-другому. Я привнесла в них тот свет и радость, в которых они так нуждались. А жизнь их, надо сказать, не баловала. Две революции, три войны, голод и лишения начала 1920-х годов, смерть семи из десяти родившихся детей. И даже их молодость пришлось на один из самых тяжёлых периодов нашей истории.

Достаточно сказать, что к моменту их знакомства за плечами у деда было уже три года окопов Первой мировой, которую он прошёл от начала до конца, будучи стрелком сапёрной команды 257-го Евпаторийского полка. Правда, обошлось без ранений, зато он был отравлен газами и полгода провалялся в госпитале. А ещё заслужил солдатский Георгиевский крест 4-й степени, который давали за храбрость. Именно там, в окопах Юго-Западного фронта, освоил он русский язык, бывший для него не родным, по-настоящему (в селе Киргиз-Мияки, где он вырос, была только татарская школа-семилетка), а главное — приобщился к политике и стал, что называется, человеком идеологическим, навсегда порвавшим с религией.

Правда, в своих политических предпочтениях он определился не сразу. Во всяком случае, летом 1917 года, когда его избрали делегатом на проходивший в Харькове съезд солдатских депутатов, он не состоял ещё ни в одной партии. Ну, а грянувшая вслед за тем Октябрьская революция объявила об одностороннем выходе России из войны, и армия окончательно развалилась. Солдаты разбрелись по домам, и двадцатидвухлетнему Рахматулле Альбаеву не оставалось ничего другого, как вернуться в родное село, чтобы зажить там мирной жизнью, от которой он порядком отвык, не подозревая, что это ненадолго.

Вот тут и сосватали родители ему невесту из соседней деревни, красивую и ладную восемнадцатилетнюю Хатиму. За ней, между прочим, было немалое приданое: швейцарские настенные часы фирмы «Мозер» и ножная швейная машинка «Зингер», купленные моим прадедом у заезжих купцов, а кроме того корова и овцы, да ещё сундук разного добра: подушки из гусяного пуха, постельное бельё, отрезки шерстяных и шёлковых тканей, лисьи и белчьи меха. Для него, бывшего батрака из бедняцкой семьи, проработавшего до призыва в армию несколько лет по найму у богатых сельчан, это имело некоторое значение. Но главное, девушка ему понравилась.

Свадьбу сыграли в начале 1918 года, но семейное счастье длилось недолго. В сущности, то была короткая пауза, передышка между двумя войнами — Первой мировой и Гражданской, которая не замедлила воспоследовать. И Рахматулла, не желая остаться в стороне, без колебаний идёт защищать свою кровную советскую власть. Добровольцами записываются в армию и оба его брата. И в течение трёх лет мотает его по разным фронтам. А за ним, как нитка за иголкой, следует и его молодая жена.

СТИХИ, КАРТИНЫ, QR-КОД

«Любите живопись, поэты!» — этот знаменитый призыв Николая Заболоцкого был услышан участниками Международного литературного форума молодых писателей России и стран СНГ «Липки-2023», поэтами из семинара нашего журнала. Захотелось создать поэтическую картинную галерею — стихи к любимым живописным полотнам. У одних получилось самостоятельное стихотворение, у других — иллюстрация к картине, вариации на тему или экспромт.

Каждому стихотворению соответствует свой QR-код.

Поднеся смартфон к QR-коду, можно увидеть картину, вдохновившую поэта.

Подборка стихов и соответствующих картин с использованием QR-кода — новация в работе журнала «Дружба народов», который отмечает в этом году свое 85-летие!

Наталья Алексеева

Андрей Рублёв, «Благовещение»



тыходишь в дом
со мной поговорить
усаживаешься на моей кровати

в руке не сжата шерстяная нить
ты не в чепце не в синем платье
но в этом же сиянье золотом
как будто в солнечном объятии

неторопливо как приходят сны
как расцветает плодородный сад
ты просияешь у тебя родится сын
ты скажешь у тебя родится брат

*Марина Гаджиева***Рене Магритт, «Ясновидение»**

Замкнутость гладких линий,
Бескомпромиссность цвета —
Белым яйцом куриным
Занят Рене с рассвета.

Цвет поглощает поле —
Белый холста квадрат —
Чёрт-чернота в неволе,
И человек крылат.

Было яйцо, а будет
Тело, удар, полёт.
Ветви грядущих судеб —
Неуловим расчёт.

Взгляду не ухватиться,
Серая тень, овал.
Смотрит
с мольберта
птица.

*Яна Зверева***Поль Сезанн, «Натюрморт с корзиной яблок»**

Слепну. Рисую яблочный аромат.
Прочего не получается рисовать.
В комнате пахнет сидром и керосином.
Холодно, некрасиво.

Окружённый подгнившими фруктами, хочу я
Завтра учуять.

Дарья Князева

Винсент Ван Гог, «Звёздная ночь»



Напряжение сфер
водоворотами
вьётся, длится, меняется,
не повторяясь,

крупными стежками
пришито Создателем к пологу,
едва встряхнёшь —
стежки превращаются в рябь —
певучее эхо, бегущее за край Вселенной.

Кирилл Моргунов

**Питер Брейгель, «Зимний пейзаж с конькобежцами
и ловушкой для птиц»**



Небо караулит конькобежцев.
Чёрные деревья, словно руки,
Медленно сжимающие сердце —
То ли от любви, то ли от скуки.

Небо караулит птицеловов.
На снегу стоишь, как на ладони:
Подбираешь правильное слово —
Только ничего не вспомнить.

Марина Мазуренко

Питер Брейгель Старший. «Безумная Грета»



Чёрная пятница
Грета-Бронежилет из вельвета
Идёт
Под вуалью решимости
В каске химической завивки

Армия подружек
Приливная волна

Двери ТЦ
Порванный криком рот

Мелкими бесами вьются
Консультанты

Мечты шопоголиков вызрели
Вылупились

Феерия сюра
Пустеющие счета

Каждый в убытке

Грета идёт
Сумка полна
и кошелёк

Татьяна Павлова

Ирина Букоткина, «Лотосы»



Листья подобны зонтам перевёрнутым —
дарят волшебные сны,
а на кострах лепестков чудотворные
дни догорают, ясны.

Мне бы отречься от мира диванного,
кистью поймать разноцвет,
в батик облечь берег неба желанного,
в волнах купающий свет.

Пусть обернётся тропой заповедною
жизни нелепой маршрут.
Нежно по шёлку мечтою заветною
лотосы в душу цветут.

Марина Перова

Василий Кандинский, «Композиция VII»

я видел мир, как видят дом во сне,
на ангельском, до-словном языке,
где слово только силится взойти,
и с ним — мои неясные пути
для каждого, ещё живого-не.
и мысль моя из точки в пустоте
разбила тьму на под- и надпространство,
и время разорвало постоянство,
а если свет? и появился свет.
я видел солнца первого расцвет.
носился дух над вспухнувшей землёй.
и стала твердь.
и небеса набрякли.



Екатерина Сороколетова

Антон Фролов, проект «Леандр»

Кроме темперы и потали,
чем ещё
писать галактики,
скафандры и космолёты?
Разве не были в первый день созданы
тахiony и кванты?

Я думаю,
что Троица это не что иное
как суперпозиция
Бога.



Денис Ткачук

Иван Глазунов, «Улица»

среди рыбаков мытарей
стражников и разбойников
есть тот
кто будет ближе всех
и предаст

взгляды издали
пронзают насквозь
это
ты?



*Вячеслав Шевченко***Рене Магритт, «Это не трубка»**

Если видишь: на картине
Нарисована река,
Зонтик, женщины в бикини —
Так и есть наверняка.
Так бы дальше продолжалось,
Но теперь, какая жалость,
Реку мутит, нас дурит
Выдумщик Рене Магритт.
Как табачная в ноздре пыль,
Раздражает парадокс.
Сколько никотина доз
Я в раздумиях впитал!
Как же так — не трубка? Крепы
Он мне, как труба, шатал!
Или не труба, а что же?
Даже трубадур не сможет
Оживить на свалке труб
Флейты водосточной труп...
С этим всё ж я смог смириться.
Всем теперь я говорю,
Выдыхая дымом в лица:
«Не курю».

*Яна Яжмина***Питер Клас, «Ванитас со скрипкой
и хрустальным шаром»**

Танец под строптивую скрипку
Год за годом
Оставляет
Скрипучий чернильный след.

Memento mori, — повторяли часы.
Больше они никуда не пойдут.
Ореховые знания добыты.
Горло бокала пересохло.

В тёмной комнате
Свет.
Он дарит художнику
Право дописать картину,
Увековечить маленького себя
На этом огромном шаре.

Кто знает,
Возможно, было задумано,
Чтобы четыреста лет спустя
Я, наконец, себе призналась:

Я не умею танцевать.

Татьяна Ярушина

Джон Уильям Уотерхаус, «Душа розы»



От хрипоты до немоты
Ласкала бледные цветы...
И, приоткрыв немного рот,
Казалось, что умру вот-вот...

Но показалось.

Змеились стебли. Аромат
Щипал за щёки, словно яд
Вливал румянец. И рука
Была подвижна и гибка...

Душа металась.

Метались души роз в саду,
И ты, с собою не в ладу,
Стояла, будто бледный куст
В бутонах.
Но слышится легчайший хруст...

И ты сломалась...

Юрий Арабов

Литклуб через призму эго

Юрия Арабова не стало накануне Нового года. Торопливые некрологи не отличались разнообразием. Внушительность скопированного из Википедии списка наград и званий самого титулованного и одновременно самого уважаемого (редкое сочетание) российского киносценариста плюс беглое перечисление культовых фильмов избавляли от необходимости что-либо добавлять. Количество знаков, отведенных под некролог, ограничено.

Меж тем Юрий Арабов был поэтом, большим поэтом, прежде всего поэтом. Он и сам говорил «я поэт, а сценарии...» — и недоговаривал, ограничиваясь неопределенным жестом. Отчасти прояснил смысл этого жеста его соавтор по двенадцати фильмам режиссер Александр Сокуров: «Арабов — это уникальное сочетание мощного интеллекта, тонкой художественной интуиции, грустной иронии и страсти. И использовать его талант в кинематографе — все равно что хрустальной вазой забивать гвозди. Как правило, кино не нуждается в таком уровне культуры и литературного мастерства».

Арабов казался закрытым, замкнутым, погруженным в себя интровертом, таким, наверное, и был: отдельным, штучным, сложным, мучительно сложным. Мучился от несовершенства мира, от несовершенства своей жизни, своих текстов, рвался к последней прямоте, к пониманию, мучился от отсутствия отклика, от присутствия отклика, успеха, но не то, не про то, сжимался как от резкой внезапной боли и тут же вышучивал себя, пафосность жеста, нелепость ситуации.

Он переходил от стихов к сценариям, от сценариев — к прозе, и снова к стихам. Со стихов все и начиналось, в том числе — и наше дружество (люблю это пушкинское слово). Мы и встретились впервые в 1980 году в только что созданной поэтической студии Кирилла Ковальджи.

Студия казалась нам центром мира. Им и была. Силовое поле, центр притяжения поэтического поколения.

От наших тогдашних студийных встреч не осталось ни записей, ни фотографий. Архивов мы, согласно недвусмысленному указанию старшего собрата по перу, не заводили, а до нынешних гаджетов, сохраняющих что ни попадя, было далеко. Тем легендарней студия, тем пронзительней воспоминания.

Публикуемое эссе Юрия Арабова — о возникновении студии, о нас всех, тогдашних, которых именовали «московским андеграундом», «новой волной», «параллельной культурой», «гражданами ночи», как еще? Эссе было написано для подготовленной, но так пока и не изданной книги о студии, где собраны стихи

Арабов Юрий Николаевич (1954—2023) — поэт, прозаик, сценарист. Родился в Москве. Окончил ВГИК. Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве (1986). Лауреат премии Каннского фестиваля за лучший сценарий (1999), Государственной премии РФ (2001), «Триумф» (2008), «Ника» (2002, 2013, 2017) и многих других.

и воспоминания студийцев тех лет: Нины Искренко, Ивана Жданова, Владимира Тучкова, Алексея Парщикова, Александра Ерёмченко, Марка Шатуновского, Владимира Аристов, Юлия Гуголева, много еще кого, в том числе, естественно, Юрия Арабова, и мои, и Кирилла Ковальджи.

Двери студии были открыты. Кто хотел — приходил, кто хотел — уходил. Фильтрация происходила естественным путем. Студийцы, как нетрудно понять даже из беглого перечисления, не представляли собой некоего поэтического направления.

Ушлые литературоведы, любящие объединять всех и вся в литературные группы под затейливыми брендами, позднее расфасовали тогдашних участников наших поэтических бдений по разным разделам: метаметафористы, полистилисты, концептуалисты, иронисты, герметисты, традиционалисты и т.д. И они по-своему правы. Что общего в поэтике тех, кого я перечислил, тех, кого вспоминает Юра в своем эссе? Кроме того, что это — стихи.

...На сороковиных уже не было вереницы именитых режиссеров, узнаваемых актеров, уважаемых кинокритиков, только его студенты, его выпускники, его команда. И мы с Марком Шатуновским.

Когда расходились, один из арабовских учеников показал мне интервью, где Юру попросили ответить на незатейливый, прямо скажем, вопрос: «Кто вы?»

Он ответил в неповторимой своей манере: «А помните, у Хармса на сцену выходит писатель и говорит “я писатель”, а рабочий из зала говорит “ты не писатель, ты дерьмо”, писатель падает в обморок. Выходит актер и говорит “я артист”, рабочий из зала говорит “ты не артист, ты дерьмо”, артист падает в обморок. Вот поскольку я знаю, что это абсолютная правда, поэтому я представляю себя, конечно: никто, безусловно, в глубинном смысле, никто, которое старается быть чем-то, а быть чем-то — это значит умереть не таким дураком, как ты появился на свет».

Но иногда даже в дежурных интервью он вдруг отбрасывал свою фирменную жесткую самоиронию и говорил уже не с журналистом, а через его голову, через все наши головы с кем-то другим, говорил с последней безоглядной прямоотой: «Для меня смысл жизни заключен в том, что я хочу найти Бога. Я знаю: как только найду Его, умру, но для меня это будет счастьем. А несчастьем — если умру, так и не найдя Его».

Евгений БУНИМОВИЧ

1

Я не люблю мемуаров, поскольку, что бы не вспоминал, всегда говоришь о себе, любимом, и это смущает. Толща пережитого времени еле просвечивает через эгоизм автора и, преломляясь в нем, не выглядит достоверной. Но все-таки, сжав остатки зубов и призвав на помощь остатки совести, я попробую кое-что вспомнить, специально оговариваясь, что избавиться целиком от личных пристрастий мне вряд ли удастся.

Наверное, все интеллигентные люди моего поколения знают о феномене под названием «Ленинградский рок-клуб». Но не каждый догадывается о том, что это детище было зачато ЦК КПСС, который является подлинным отцом ленинградской артистической свободы. Было такое постановление Комитета «О работе с творческой молодежью», и цепкое семя партии, оплодотворив гордую музу искусства, породило Цоя, Гребенщикова¹, Науменко и других героев совкового рока. Сказать нынче об этом вслух и очно не представляется возможным, — побьют ошметками электрогитар, а для сценаристов недавнего фильма «Лето» подобное утверждение покажется вообще дичью. Но из настоящего рока ноту не выкинешь, тем более что там всего — пять

¹ Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

аккордов: госбезопасность вместе с партийными структурами гарантировали небывалый взлет свободного неподцензурного искусства.

Параллельно с этим в Москве возникло другое брожение, но с тем же самогонным аппаратом. Рок-н-ролл мы слушали больше питерских ребят, но почему-то писали не пентатонику, а верлибры и дольники, растягивая поэтическую строку на километр с лишним. Наверное, оглушительный успех шестидесятников не давал нам покоя, стучался в сердце и призывал: «Ну чего ты маешься, чувак, чего ты дуру гонишь?.. Эти парни не сеют, не жнут, а, нанизывая слова на незамысловатый ритм, добиваются своего: Лужники — полные, а Боб Дилан, привезенный Вознесенским из Америки на один из поэтических вечеров, не делает кассы. Его гитару никто здесь не уважает, потому что все хотят в Поли-тех-ни-чески-и-й!.. А там, как известно, не рок, а изящная словесность...»

В моем поколении все писали стихи. И партийные дрожжи, попав в эту плодородную массу, должны были дать какую-то структуру. Они и дали. В кино это было объединение «Дебют» на «Мосфильме», где молодым людям вроде меня предоставляли широкую возможность сделать малоудачный фильм. В литературе, — первый клуб «Поэзия» (не путать с нашим, с искренковским), где в отдельной комнате, о которой все знали, сидел «слухач» от госбезопасности. Там, кстати, был коронован Александр Ерёмченко в качестве короля поэтов, войдя в одну компанию с Игорем Северяниным. И, конечно же, подлинным ответом на Постановление ЦК были московские литературные студии под патронажем маститых советских литераторов.

2

В студию Кирилла Ковальджи при журнале с нескромным названием «Юность» (там работали одни старики) меня привел Алексей Парщиков, поэт с пушкинским анфасом и метафорическим профилем будущей сверхзвезды. Была осень 1980 года. Я писал стихи уже девять лет, практически никому их не показывая. Нельзя сказать, чтобы они были совсем плохие. Главной проблемой для меня был «шум времени», который не удавалось воплотить, потому что ловил я его в прохуdivшуюся сеть пастернаковской поэтики. А где взять другую? Рубцовский бредень был еще архаичнее. Верлибр меня не устраивал, ибо в нем была явственно заметна капитуляция перед поэтическим натиском с Запада. Кроме того, моя любовь к британскому року требовала ритма, а верлибр был свободен даже от этого. И когда я услышал на вечере в ЦДРИ Ерёмченко, Парщикова и Жданова, я сказал самому себе: «Есть!.. Вот она, эта сеть. И я смогу поймать в нее все, что захочу». Наверное, мое настроение в декабре 79-го (именно тогда состоялся вышеназванный вечер) можно было сравнить с настроением людей, которые впервые услышали мерси-бит из Ливерпуля: «Это наша музыка!.. И она будет с нами до гробовой доски!..»

Я начал нервно пересматривать мою устоявшуюся поэтику, увеличивая длину строки и впихивая в нее всевозможные метафоры, удачные и не очень... Но надо познакомиться с Апостолом, и желательно, чтобы именно он ввел тебя в артель-общину на правах вольного каменщика. Так уж случилась, что жена Алексея Ольга Свиблова была родственницей моего близкого друга. И через нее я познакомился с Апостолом «нового звука» и дал ему почитать кое-что из написанного. Парщиков тогда, в начале 80-х, еще не чувствовал себя профилем на медали и был открыт ко всякого рода знакомствам. Между нами возникло подобие товарищества. Я ездил к нему на Каширскую, и мы читали друг другу собственные новые стихи. В те годы я услышал из его уст «Новогодние строки», куски из «Полтавы» и многое другое. Сам я читал ему «Комара», «Цезариату» и прочее из того, что крутилось тогда в моей голове. Поскольку плохую поэзию сочинять при Парщикове было стыдно, я начал писать лучше, в чем-то подделываясь под его стиль и в чем-то находя свое...

Кончилось тем, что я ему, по-видимому, так надоел, что он бросил меня в холодную прорубь литературной студии, избавившись тем самым от надоевшего стихоплета. Привел меня, представил Кириллу Ковальджи... Мои стихи поставили на общественное обсуждение вместе со стихами Александра Ерёмко. Коварство Алёши было налицо: мне грозило полное литературное фиаско. Читать вместе с Ерёмко моих «Петухов», «Комаров» и «Мух» было безумием. Ерёма уж тогда был литературным классиком, «изобретателем прожектора» и проектировщиком гальванопластики лесов. А я... Я был никем, сценаристом единственного фильма, который, правда, очень понравился Андрею Тарковскому.

Но у меня был опыт пятилетнего обучения в сценарной мастерской ВГИКа, где занятия были построены так же: я читал, а меня били. Ногами, стульями, кастетами и всем, что попадалось под руку. А здесь... Неужели будет хуже? Меня выпустили читать первым, потому что рядовые всегда идут впереди генералов. Я и прочел... Драйвом и глоткой я заменял качество. И Ерёма слегка прижух, потому что я его явно перекричал. Потом провокатор Паршиков (Алёша, как тебя не хватает!..) говорил мне со смехом, что акция удалась. Я был использован как таран против литературного конкурента и доказал ему, что любой идиот с улицы (I am) может указать генералу: ваше место у парашей!.. Что было, конечно же, не так. Ерёма это Ерёма, и никто, даже Паршиков, этого не оспаривает.

На обсуждении меня ругал только Бунимович, а я огрызался, потому что не знал, что передо мной — будущий депутат московской городской Думы и вообще — приличный человек. А если бы знал, то я бы, конечно, ничего из своего не читал, а прочел бы вслух того же Бунимовича: «В духовом шкафу играет духовой оркестр.../ На скамейке подсудимых нет свободных мест...» Сейчас эти строки стали особенно актуальны.

Где я, люди, куда я попал?.. Передо мной сидело десятка два талантов: Шатуновский, Аристов, Кутик, Бунимович, Строкань, Друк, Паршиков, Немировская, Строчков, Левин, Ерёмко, Гуголев, Байтов, Литвак... Да разве всех перечислишь? Что я здесь делаю, куда мне до них?..

Но я буду не хуже. Нет, я буду лучше. И хоть это и невозможно, но я не ударю лицом в грязь и стану им своим до конца жизни.

...На улице — весенняя оттепель. Мы идем по темной Тверской (тогда — улица Горького, она же Пешков-стрит) вместе с Володей Друком после заседания студии. Я в кого-то влюблен. Он — тоже. И я начинаю петь хриплой глоткой: «Я хочу быть с тобой... Я так хочу быть с тобой!..» «Наугилуса». Володя вторит мне, потому что тоже кого-то любит. Что-то про комнату с белым потолком, с видом на надежду... И надежда есть. Мы — гении, и, конечно же, укатаем этот прогнивший мир к чертовой матери.

3

Главный феномен студии Ковальджи — высокая конкурентность, которая перерастала в дружбу. Я всегда знал, что не напишу так, как Шатуновский, а Марк всегда знал, что проиграет в популярности Бунимовичу. А Нина Искренко, пришедшая в студию позднее, была уверена, что Дмитрий Александрович (Пригов) всегда напишет больше и смешнее... Откуда такая концентрация одаренности, заставлявшая работать каждого, чтобы быть круче?..

Причина ее — не только висевший в воздухе слом эпох (перестройка), который все и прихлопнул. Главная причина — особого рода одаренность руководителя кружка. Ковальджи не был хорошим поэтом, но он был много больше: он был благожелательным человеком, от которого как-то само собой отлипали графоманы, а прилипали мухи другого рода, — мы, которые потихоньку превращались в плодоносящих пчел. Я такого больше не видел. Поначалу меня передергивало от «пошлости» рассказов Кирилла Владимировича, которые упирались в его собственное творчество. Какой там Ковальджи, когда есть Ваня Жданов с его полетом, что летит без птиц?.. Но только

много позже я осознал, что полет без птиц возможен, в частности, оттого, что есть на свете такие люди, как Кирилл. Их мало, но они есть. И при них, при такой крыше и в такой атмосфере товарищества можно было даже осуществить старт без бегуна. В общем, «Какое время было, блин, какие люди были, что ты!.. О них не сложено былин, зато остались анекдоты...» (И.Иртеньев).

Вне студии кружились голосистые чуваки, которые были готовы разорвать тебя на части. Например, заединщики. Они же — возрожденческая плеяда. Им сказали, что нужно бить жидов, и они покорно с этим согласились. Под категорию жидов попал даже я, который одной своей фамилией мог опровергнуть их порыв и намекнуть на антифа... Взрослые тети и дяди манипулировали молодыми, натравливая их друг на друга. Они хотели удушить нас рубцовой леской, но у нас был в руках мандельштамовский молоток, и кровавая битва захлебнулась, не начавшись. Лично меня они обещали расстрелять за измену Родине (вечер в ЦДЛ), но почему-то не расстреляли. Он же, Ковальджи, не кусал, не бил и не облизывал — он просто пытался протолкнуть нас в печатную поэзию.

Сия горькая чаша коснулась даже автора этих строк. Вдруг у одного именитого консультанта журнала оказалась моя тощая подборка текстов (Ковальджи подсунул), где были довольно странные сюжеты. Например, рассказ про раскручивающегося в пространстве петуха, который оказался не птицей, а спиралью галактики. Тут были строки, испугавшие Кирилла Владимировича. Они же впервые обратили его внимание на мою персону: «...Лишь чёрное небо, что, судя по звёздам, составлено из одних примечаний...» Легализовать мои звезды-примечания было поручено крупному поэту типа Кушнера (но не Кушнеру), фамилию которого я сейчас позабыл. Он долго составлял мою первую публикацию, терпеливо объясняя, почему она столь плоха. Там был в частности «Иоанн Креститель», который нравился Паршикову: «Он по плечи вошёл в Иордан, и на миг появилась голова на шершавом подносе...» Но кончилась эта история вполне заурядно: поэт сказал мне, что я — пижон. Что подборка моя вполне пижонская. Что, кроме пижонства, я не ставлю перед собой никаких других задач. Я — сын пижона, и дедушка мой был пижон. Поэт, конечно же, не знал, что именно мой дедушка-пижон умер в вагоне для скота в сорок четвертом году, когда товарищ Коба выслав за что-то крымских татар и греков в Сибирь. Но, с другой стороны, разве пижон не может умереть от голода в вагоне для скота, когда его, пижона, не кормят несколько недель?.. Может. И крыть мне было нечем. Кроме того, добавил мой благодетель, жена сказала, что «ваши фильмы есть подражание американцам». Я до сих пор жалею, что не сообщил это мнение Сокурову. Александр Николаевич, думаю, долго не мог бы прийти в себя от изумления... В общем, на моей легализации был поставлен тогда жирный крест.

Я рассказываю это лишь до того, чтобы доказать: порядочность Ковальджи есть не только добродетель, но и талант. Он не крыл нас американцами, не называл пижонами, не раздувал комплекса неполноценности. Его благожелательность создавала возможность выдумывать новые миры. На моих глазах создавалась художественная артель, где в одиночку каждый был почти слаб, но вместе мы представляли определенную силу.

И эта сила выстрелила в перестройку. Правда, выстрел был странным. Он убил не только тех, кто косил под Есенина. Он убил нас самих как общность. И потому сильно походил на суицид.

4

Первый «Испытательный стенд» «Юности» 87 года (подборка авангардистов, в том числе и меня) определил в чем-то направление молодежной поэзии на несколько лет вперед. «Стенд» был в основном сформирован из участников студии Ковальджи. Тут же подоспел и «Новый мир». Он озаглавил подборку совместных творений «Испорченный калейдоскоп», намекая, что мы все — порченые. То ли сифилитики,

то ли жиды... А скорее всего, и те, и другие. Строчка была взята из моего текста «Прогулка наоборот»: «...Испорченный калейдоскоп заменит им луну в ненастье...» Уже тогда в мое сердце закрался вопрос: а не разводят ли нас? Здесь было два тревожных момента. Во-первых, чего нас испытывать? Мы что, самолеты МиГ или межконтинентальные ракеты?.. Мы — всего лишь люди и, кажется, слегка состоявшиеся на ниве поэтического слова. И потом — эта «порча». На нас был сразу налеплен негативный ярлык. И нас воспринимали гуртом, командой, палатой в желтом доме. Выделиться из этой палаты и стать «настоящим буйным» было непросто.

Уже тогда прошумел наш поэтический вечер в клубе сигаретной фабрики «Дукат». Его участников пропиарили «Свобода» и «Голос Америки».

Контора вздрогнула и проснулась. Однажды вечером мне позвонил Иртенев. «Дмитрия Александровича взяли, — услышал я в трубке знакомый голос Игоря: — Я уже сжег свои рукописи. А ты?..» А я... А я — нет. Я творил в это время что-то новое, поскольку после «Дуката» был почти знаменит.

За окном была египетская тьма. Я начал лениво думать, сейчас ли мне жечь свои труды или потом... И где жечь? Выбор пал на балкон. Я отнес туда свои рукописи, напечатанные на пишущей машинке «Москва», облил их ацетоном и зажег. В комнату пошел едкий дым, — мои труды пахли скверно. Я затушил рукописи водой, понимая, что подвиг Гоголя мне не по плечу.

Дмитрия Александровича вскоре выпустили. С Лубянки его отправили в дурдом имени Сербского. И уже оттуда его изыала Белла Ахатовна Ахмадулина и «взяла на поруки» как нервическую личность, которую можно лечить дома.

А потом наступило нечто совсем новое и настолько враждебное студии Ковальджи, что поначалу мы все терялись в догадках. Мы же вроде звали свободу... Во всяком случае, в изящной словесности, так почему эта свобода поворачивается к нам, извините за выражение, своим седалищем?.. Знаки совершенно иной ситуации в искусстве были повсюду. Но меня более всего поразил опрос читателей в популярном светоче свободы под названием «Московский комсомолец». Там опубликовали топ под названием «Лучший композитор XX века». Я думал, что столкнусь в списке со Стравинским и Шостаковичем, Прокофьевым и Бартоком. Ну, на худой конец, с Дунаевским и Ленноном с Маккартни. Но я ошибся. На первой позиции как лучший композитор уходящего века стоял Игорь Крутой.

Это было шоком. Лучшим был признан вообще не композитор и не музыкант. То, что его фамилия написана под некоторыми треками в исполнении Пугачёвой, еще ничего не доказывает. Его можно назвать менеджером, организатором «фанеры» постсоветской попсы, которая открывала рот, имитируя пение на стадионах. Но лучшим композитором... Нет. Это немислимо!..

Позднее мне сказали, что анкета была хорошо проплачена. Но за анкетным опросом, и я это чувствовал, скрывались вполне объективные и правдивые вещи.

Демократия, даже в кастрированном российском виде, требует демократического искусства, понятного миллионам. Формальная власть народа предполагает неформальную народность. И любой крутой (не Игорь) будет на шаг впереди любого заумного Бартока, а Андрей Дементьев уложит мизинцем Жданова, Парщикова и прочих экспериментаторов с собственной жизнью.

Выяснилось, что демократическое искусство (попса) враждебно даже заединщикам (славянофильский лагерь). Она играет на понижение и поэтому всегда выигрывает. И только распята собственной бюрократией Советская власть с ее стандартами классического искусства дает ограниченное пространство для существования метареализма, концептуализма и прочих изысков, не превращая их в маргинальные секты для десяти человек. Демократия кормит бигмаками, и у потребителя, привыкшего к фастфуду, конечно же, откажет живот, если он пойдет в хороший ресторан. Если обыватель выбирает президента, то почему он не имеет права выбирать искусство? Он и выбирает. Соответственно своему образовательному цензу.

Мое поколение застало вегетарианский период Советской власти (без массовых

посадок), где по телевизору читали Пушкина и Твардовского, и под эти образцы подтягивалось все остальное. Пушкина насильно навязывали, не вдаваясь глубоко в строчки: «...Пока свободой горим, пока сердца для чести живы...» Это было изнасилование слушателя, но изнасилование высоким образцом. А без изнасилования, при *добровольном* выборе Барков будет всегда впереди любой литературы для думающих. Потребительский подход прихлопывает качество продукта, как муху. И если подходом еще и манипулируют (маркетинг), то результат вообще может быть любым.

В доступной культуре сегодняшней России вы не найдете следов ленинградского рок-клуба. Он первым был прихлопнут той свободой, которую так звал. В интернетовской поэзии (спасибо электронике!..) вы почти не обнаружите осколков литературной студии Кирилла Ковальджи. А те фрагменты кораблекрушения, до которых можно дотянуться, используются в другом контексте. Так, Нина Искренко, домашняя хозяйка и верная жена, стала воплощением феминистской свободы, где оргазм в 50 лет рассматривается как благо, в особенности если он достигнут без помощи мужчины. Назвать фамилии авторов?.. Еще чего!.. Назовете сами, а то вы совсем обленились.

Можно подумать, что я агитирую за искусство концлагеря, где с утра вместо баланды подается Бродский, в обед — Парщиков, а на вечер — Пригов с Иртеньевым. Что вы!.. Как вы могли такое подумать? Я агитирую даже не за концлагерь, а за газовые камеры. Загонять потребителя в них будет Друк. Принимать последнюю исповедь — Шатуновский. А включать газ — Бунимович... Сам же я останусь в стороне от всего этого, поскольку я — противник всякого насилия. В крайнем случае, я поставлю жертвам высокого искусства музыку Игоря Крутого.

5

Участники той студии до сих пор живы и кое-как работают. Они не стали ни палачами, ни жертвами, и это хорошо. Марк Шатуновский написал в начале века (нынешнего) поэтический текст про фашизм как лучшее моеющее средство. А позднее сочинил «Заблудившуюся войну», в которой точно отобразилось то, что переживает Россия сегодня.

Евгений Бунимович, наиболее социализированный из нас, получает призы на международных поэтических конкурсах и штурмует социальные пики дозволенного либерализма.

Владимир Аристов продолжает сочинять стихи и пытался стать членом нового литературного проекта, от которого известен только манифест. Алексей Парщиков умер в Германии, оставшись Апостолом для избранных. Жданов считается литературным классиком и недавно получил за это нож в спину, а Саша Ерёмченко заболел¹...

Я же живу так же, как и жил во времена Пушкина, с небольшой только разницей. В маленькой комнате 22-метровой квартиры свалены мои многочисленные призы за кино и литературу. Отечественные и иностранные, в статуэтках и на бумаге. Они пылятся под письменным столом, они стоят за книжной полкой со стихами моих товарищей по студии Ковальджи. Мы все теперь широко изданы маленькими тиражами, и я не знаю, что изменилось в мире после этого. Потому что последствия COVIDa видны всем, а последствия рифмы «ботинок-полуботинок» видны лишь тем, кто знает контекст ботинка.

А контекст его — в том, что ни прошлое, ни настоящее время не является для нас *своим*. По времени можно ходить в сапогах, ботинках или кроссовках. Но все равно споткнешься и разобьешь нос о какую-нибудь малость.

Например, о собственную ненужность и тоску по настоящей жизни, до которой ты то ли не добрался, то ли прозевал простой факт, что живешь именно в ней...

Публикация Ольги КАТАЕВОЙ-АРАБОВОЙ

¹ Александр Ерёмченко умер 21 июня 2021 года. — Прим. ред.

Юрий Арабов

Звезда НиштЯК

Воскрешенье Иуды

4 евро назад
мне стукнул полтинник.
А 8 евро назад
я пошёл в детский сад.
Там я встретил букет из невинных рептилий —
инфузории в тувельках шли на военный парад.
Грипп ещё не родился, собака не знала намордник,
мощи в гранитной коробке доказывали, что чудо
может сделать любой, например, землекоп или дворник.
Мне сказали, что Бог не воскрес, а воскреснет Иуда.
В воскрешенье Иуды поверило полстраны.
А с другой половиной было не всё в порядке —
она колосилась, как сор, поперёк грядки,
и, чтобы в неё наступить, закатывали штаны.
Она была холодней, чем в прозекторской — потолок,
горячее, чем лёд, и прохладнее корвалола.
По ней не ходили ни Маркс, ни Игнатий Лойола,
и каждая ходка была на предельный срок.
Можно было скостить по УДО, если бегать не лень...
«Наконец-то Иуда воскрес, — мне сказал участковый, —
это и есть настоящий прогресс, а не ваша трень-брень,
выглядит, правда, как труп, но что здесь такого?..»
Так сказал участковый, следящий за улицей Морг.
Он был вещью в себе и одет в галифе-шаровары.
Штангенциркуль (оружие троичника) был в канцтоварах.
Я его прикупил и сражался с черчением, как мог.
Мне вручили военный билет, аттестат и диплом,
стёрли кровь с молоком, прилепили депру и напасти.
Раньше был «Гастроном», а теперь тут построили молл,
где для баб продаются трусы, а для прочих — запчасти.
И воскресший Иуда гоняет народ топором,
но внутри его — пряник, чуть чёрствый, как честное слово.
Ты живёшь при пришествии чуда, а смотришь ослом...
Что тут можно сказать? Только вновь перечесть Богослова...

Звезда Ништяк

Если раньше тебе светила звезда Полынь,
то теперь тебе ярко светит звезда Ништяк.
Реновации — мимо, и газ православный зарин,
есть повод, чтоб выпить, но что-то с тобою не так.
Это «что-то» всего лишь деталь, невидимая в микроскоп,
усллада натуралиста, на воздух набрасывающего чулок.
В чёрном небе — остатки маршальского мундира:
то сверхновая гавкнет, то вообще не найдёшь командира...
Настасья Филипповна — плохое кино и курьёз,
князь Мышкин пошёл на сцену и скоро получит ленту.
Они ведь тебе не ровня, так что ты принял всерьёз
дары простаков-волхвов?.. Они принесли не ренту.
И звезда Ништяк, возможно, равна дыре,
то ли чёрной космической, то ли слегка вагинальной.
И кто из неё родится в рубашке или коре,
огурец-Капитолий иль просто ремонт капитальный?..
Я б из двух выбрал лучше звезду Полынь,
она честнее лубочного позитива.
Она — эсперанто, понятнее, чем псалтырь.
Ведь Бог теперь говорит не с помощью нарратива.
И если звезда Полынь отдаёт тебе то, что может:
ядовитую воду, нуклиды, атомный перманент,
то звезда Ништяк распрямляет тебя, как хочет,
если даже сутулый, как арбалет.
С нею опасно играть в непонятки и фанты,
она начисляет гранты, ты должен быть на виду.
А потом на сухие ветки хипстер повяжет банты,
и ты с новогодней ёлкой в одном ряду.
И если Господь со своей славой
едет в первом вагоне с конца состава,
то твой бизнес-класс ему явно не в кайф...
Но это не значит, что кончится дольче лайф.
Это не значит, что гавкнет, как пёс, внезапно
всё, что приносит тебе миражи в пустыне:
видишь оазис, лес, и дева идёт, как цапля,
но как ты догонишь её на своей дрезине?..
Ты думаешь, что упадёшь всей тяжестью баобаба,
мир заплачет, солдаты выстроятся в каре...
И кто-то гитару возьмёт, как чужую бабу,
и на бёдрах подцепит ми или ре...
Но в сухом остатке тебя никто не заметил,
не заметят жизни, заметят лишь полный крэш.
И звезду Ништяк, сорвавшуюся с петель,
на мусорном полигоне засунут обратно в печь.

Жизнь прошла

В старости делаешься суетливым,
Боишься быть сухою или гением,
Выглядеть сонным или пытливым,
Менять окраску и оперение.

В старости делаешься незнакомым
Тому, кто пользуется дензнаками.
Пьёшь чай и дружишь с вором в законе,
Когда по телеку он калякает.

В старости ходишь в стеклянной каске
адресной помощи и оде́же
с прожитой жизни... Железной маске
всегда не хватает слоновьей кожи,

той же, что в юности, но иначе:
смерть — биссектриса или константа.
К тебе подкатился весёлый мячик.
Ты бьёшь... а это была граната.

Беззубый Вася, счастливый зять
своей могилы... ну что ты воешь?
И ты не можешь никак понять,
что Бог, он, в общем, тебе не кореш.

Ты рос изгоем, но был везде,
Читал, работал, блудил с астралом...
Так, церковь, сделанную без гвоздей,
Подбивают гвоздями, чтоб не упала.

Александр Васькин

Булат Окуджава:

«И расцветёт Москва от погребов до крыш»

Сто лет тому назад в Москве на свет появился Булат Окуджава. Как и положено коренному арбатцу, — в роддоме Грауэрмана на *Большой Молчановке, 5* (современный адрес бывшего роддома — *улица Новый Арбат, 7*). Многие полагают, что раз и памятник поэту стоит в Плотниковом переулке, то и сам он прожил здесь всю сознательную жизнь. Однако это не так — к счастью, ибо начавшееся в 1960-х годах разрушение родного Арбата было для Окуджавы как нож в сердце: «Арбат оставался Арбатом до той поры, пока не прорубили проспект. Его прорубили — и Арбат сразу выдохся и заки...» Потому кажется неслучайным, что большая часть московской жизни Окуджавы связана с другой Москвой, куда мы и отправимся.

Один из первых московских адресов, куда в июле 1924 года принесли новорожденного Булатика, это... швейная фабрика, бывшая *Трёхгорная мануфактура*, в парткоме которой трудилась его матушка Ашхен Степановна (урожденная Налбандян). Почему младенец в парткоме? Не в партию же его решили принять! Оказывается, сына коммунистов решили крестить, но по новым советским антирелигиозным обычаям. Называлось это «октябрины». В автобиографическом романе «Упразднённый театр» Окуджава описывает коммунистические крестины «в цехе Трёхгорной мануфактуры, украшенном кумачовыми полотнами». Когда его мать «вступила в цех под звуки заводского духового оркестра, игравшего не очень слаженно “Вихри враждебные веют над нами...” Станки были остановлены. Работницы стояли плотным полукругом. Пожилой представитель партийного комитета сказал речь. Он сказал так: “Мы исполняем наш красный обряд. Мы отвергаем всякие бывшие церковные крестины, когда ребенка попы окунали в воду и все это был обман. Теперь мы будем наших детей октябрить, и без всяких попов. Да здравствует мировая революция!...”».

Само собой, Окуджава, тогда не более двух месяцев от роду, вряд ли мог запомнить подробности «октябрения»: «Оркестр, игравший вразнобой, не вызывал в нем счастливых эмоций. Его звучание воспринималось всего лишь как шум жизни, перемешанный с речами, смехом и отдельными выкриками. Склонявшееся над ним пунцовое лицо его мамы с карими миндалевидными глазами виделось расплывчатым пятном, когда он на миг просыпался». Вероятно, мама впоследствии рассказывала. «И когда он подрос и узнал, что его, оказывается, октябрили, он ощутил гордое чувство единственного, не похожего на других избранника, отмеченного тайным знаком. Крещеных вокруг было множество — он же был октябрённым. И это, как ни странно, в позднем детстве, в отрочестве и даже в юности придавало ему в собственных глазах ощущение преимущества и даже превосходства». А от того цеха, где ребенок получил коммунистическое крещение, остался лишь адрес — *улица Рочдельская, дом 15*.

«Октябрение» не пошло впрок. Хотя Окуджава и вступит сознательно в партию в 1956 году, но уже через два года поймет, что «не туда попал». Он не только не стал убежденным коммунистом, его однажды даже исключили из КПСС — свои же коллеги-писатели... А в октябре 1993 года он решил не отмалчиваться. И самое поразительное, что те трагические события, радикальной оценки которых многие до сих пор не могут Окуджава простить, разворачивались бок о бок с местом его «крещения». Да, не зря есть у него такая строка: «Всё чревато повторением...»

После «октябрин» младенца вернули в лоно Арбата. Но судьбе все же было угодно периодически отрывать Булата Шалвовича от родной улицы — и потому учился он не только в близлежащей школе № 69 в *Дурновском переулке* (современная *Композиторская улица*), но и в школах Тбилиси и Нижнего Тагила... «Я — легкомысленный грузин», — сказал он однажды про себя. Отец Окуджавы Шалва Степанович был крупным партийным работником, и семья ездила вместе с ним туда, куда его посылал ЦК. А дом 43 на Арбате, в котором жил поэт (на четвертом этаже в коммунальной квартире № 12) выстроен, а точнее, перестроен в 1934—1936 годах по проекту архитектора В. Чагина. Здесь после ареста отца в начале 1937 года их осталось четверо: Булат с братом, мама и бабушка. Затем пришли и за мамой, увезли на черном воронке. Забирали людей, как правило, ночью...

Война разлучила Окуджаву с Москвой почти на пятнадцать лет, вобравших в себя и фронт, и учебу на филологическом факультете Тбилисского университета, и дальнейшую работу в сельских школах Калужской области. (Какая все-таки занятная жизнь была в СССР: Булата Шалвовича могли бы распределить на работу в школу Тбилиси или Кутаиси, а отправили в Россию, пойдя на встречу его просьбе.) Первые стихи Окуджавы, ставшие песнями, были навеяны войной, тяготы войны нашли свое отражение и в его прозе. Новое поколение — молодежи, талантливой и самобытной, прошедшей войну, — буквально ворвалось в советскую литературу. В своеобразном «поэтическом» взводе Булат Окуджава занимает отдельное почетное место. Кроме того, он стал и самым поющим советским писателем — бардом. Первые импровизированные концерты пришлось на ту пору, когда он в 1956 году после реабилитации репрессированной матери вернулся в родную в Москву, устроившись работать в издательство «Молодая гвардия» на *Суцёвской улице, дом 21*. Еще одно место его работы — отдел поэзии в «Литературной газете» в 1959—1962 годах, *Цветной бульвар, дом 30*. Один из современников утверждал, что Окуджава был похож на орла в клетке — настолько тесно было ему в маленьком кабинете. Тесно не только в физическом смысле, добавлю я, но и в творческом. Неудивительно, что в 1962 году он покинул свою «клетку». Навсегда.

В конце 1950-х Окуджаву часто можно встретить в литературной студии «Магистраль» при Центральном доме культуры железнодорожников. Его первое выступление там произвело весьма сильное впечатление на начинающих литераторов. Один из них, Феликс Гохман, вспоминал:

«...Появился худощавый черноволосый молодой человек в сером свитере. Он взял гитару и начал петь. Мы были ошеломлены. Этот парень пел то, о чем все думали, но не могли этого выразить. Может быть, и боялись. Мы только-только начали учиться откровенно говорить друг с другом. Впечатление от его выступления было настолько сильным, что, когда Булат Окуджава кончил петь, мы не могли прийти в себя. Это была настоящая революция в сознании, мы вдруг почувствовали себя свободными людьми. Не стоит забывать, что прошло только лет пять со дня смерти Сталина. Когда мы вышли из зала, старушки-гардеробщицы громко перешептывались: “Это ж надо до чего дошли — про черных котов поют! Совсем народ распустился!”»

После этого вечера мы возвращались домой пешком: хотелось обсудить услышанное. Впоследствии мы с ним встречались всего несколько раз, но та, первая встреча была одним из самых значительных впечатлений в моей жизни. После этой

встречи я начал откладывать деньги на магнитофон и купил огромный катушечник “Днепр” — в первую очередь для того, чтобы записывать новые песни Окуджавы. Никаких пластинок еще не было, о книжках тогда мечтать тоже не приходилось. Вскоре вышел сборник “Тарусские страницы”, в котором была опубликована первая повесть Булата Окуджавы. Было видно, что в литературу пришел новый человек, талантливый писатель.

Спустя несколько лет, на вечере Булата в Политехническом, я обратил внимание на то, что там, в огромном зале, он держался так же просто и естественно, как и в крохотном зальчике нашего объединения. Мы воспринимали его, с одной стороны, как потрясающе талантливого человека, а с другой — как абсолютно своего. Он был символом того времени “шестидесятников”: ведь он воплощал в себе все наши тогдашние надежды. Он говорил, как и пел, негромко, спокойно. Своим тихим голосом он говорил правду, и так хотелось подстраиваться под него. Для нашего поколения этот человек олицетворял собой порядочность, честность, правду... Молодой, тощий, с огромной шевелюрой. Ходил он в “Магистраль” довольно часто. Вначале просто читал свои стихи. Играть на гитаре еще стеснялся. Затем начал петь свои песни под гитару. Первый такой концерт состоялся в “Магистрале”. Слова были замечательные, а петь Булат еще не умел. Конечно, по нашему обыкновению после выступления мы немножко поспорили, чего греха таить. Это было в порядке вещей. Окуджава был “свой”, его ругать не стеснялись. Затем были выступления на открытых площадках. Помню такое выступление в парке “Сокольники”...»

Литстудия «Магистраль» находилась на *Каланчёвской площади, дом 2*. Руководителем и вдохновителем ее был поэт Григорий Левин, в его квартире на *улице Мархлевского (ныне Милютинский переулок)* молодой Булат также пел свои песни на домашних концертах. Инна Лиснянская была среди зрителей, когда «запел густо кучерявый, худенький, смуглый на вид юноша “Из окон корочкой несёт поджаристой...”» Пел Окуджава, вспоминала Лиснянская, «долго, не отнекиваясь, не ломаясь, спел все, что к тому времени у него было. Я же была так потрясена, что не запомнила, кто еще в тот вечер его слушал. Да, я так была ошеломлена, так всем слухом поняла, что перед нами совершенно новое явление в поэзии, что в тесноте, где мы потом выпивали, даже не решилась поблагодарить. И только когда мы с ним прощались у открытых дверей в коридор, я, чувствуя, как вся заливаюсь краской, выпалила: “А вам никто не говорил, что вы похожи на молодого Пушкина?” Окуджава тоже покраснел и как-то сконфуженно огляделся». А ведь и правда похож! И мог бы даже сыграть его в кино... Во всяком случае, сценарий он написал: «Частная жизнь Александра Сергеевича...» А про Григория Левина Окуджава говорил: «Он меня сделал».

В марте 1960 года состоялось скандальное выступление барда в Доме кино, что находился тогда на *улице Воровского, дом 33 (совр. Поварская)*. Адрес, печально известный: в 1958-м писательское собрание расправлялось здесь с Борисом Пастернаком. Но сам по себе концерт на сцене Дома кино — это было почетно. Выступление закончилось преждевременно — неожиданным уходом со сцены. В субботний вечер отдыха разношерстная аудитория, судя по всему, оказалась не готова внимать песне «Вы слышите, грохочут сапоги». То ли много выпили, то ли, наоборот, мало, но Окуджаву освистали. Юрий Нагибин вспоминал в дневнике 3 октября 1969 года, как «он плакал в коридоре Дома кино после провала своего первого публичного выступления. Тогда я пригнул его, устроил ему прекрасный дружеский вечер с шампанским и коньяком». Нагибин признавался, что в молодости «был в плену у Окуджавы».

Совсем иначе закончилось не согласованное с «вышестоящими инстанциями» (что уже удивительно!) выступление Окуджавы в июне 1961 года в кафе «Артистическое» в *проезде Художественного театра, дом 6 (ныне Камергерский переулок)*, напротив МХАТа. Объявлений в газетах не давали — сарафанное радио служило главным источником рекламы, что сулило присутствие исключительно «своих» людей

Булат Окуджав

«Я вернулся с фронта...»

Рассказы

Уроки музыки

Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени. Да и самого себя вижу почти условно: так, некто нереальный семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча; почему-то с карабином; почему-то делающий не то, что надо, и потому виноватый перед сержантом Ланцовым.

Сержант Ланцов — старик тридцати лет, кадровый, сколоченный из мореного дуба, глядящий на меня с подозрением и болью, учитель жизни и минометного искусства, которое есть первейшее для нас, то, что вы городские и шибко грамотные, это вы забудьте, так и так, и разотрите... это вам не географией баловаться... Как стоишь! Встать, сесть!.. Смирна! А ну подравняйся!..

И все в таком роде. И на каждые три слова два несловарных, или наоборот, в зависимости от обстоятельств... Выше ногу! Шире шаг! Так и так!.. Акаджав, убрать живот! (У меня, оказывается, и живот есть. А я думал — только позвоночник.) Чего лыбитеесь? На губу захотел, так и так?.. Стой! Вольно... Теперь глядите: это чего у меня? Какая ж это бомба? Ты куда приехал, так и так? В минометную... Значит, чего у меня в руках? А сколько она весит? Весит шестнадцать килограмм, понятно? Осколочного действия, понятно? Засаживаем в ствол, а руки сбрасываем, понятно? Впереди у нее чего? Кто знает?.. Эх вы, грамотные, так и так... Впереди у нее мембрана, понятно?

Широкоскулое, губастое лицо учителя вызывает непродолжительный шок. От хриплого баритончика холодеет спина. Но мы привыкаем стремительно, вот уже нестрашно: в глазах, в голосе, в каждом жесте — вдохновение фанатика, хотя словарь все еще оскорбляет. Впрочем, и это ненадолго...

— Я вам поулыбаюсь, так и так!.. Мембрана очень чувствительна: легкое прикосновение к предмету приводит ее в действие, и мина разрывается...

Это он произносит строго по инструкции, изысканно и гладко.

— Она как полоснет осколками, и прощай, так и так, понятно?

— А может, все-таки мембрана? — говорит кто-то из смельчаков.

— Разговорчики! — кричит Ланцов. — Акаджав, повторите.

— Разговорчики, — повторяю я.

Все смеются в ладошки. Но перед ним долго не посмеешься.

Тишина. Осень. Мелкий дождь. В груди сержанта накапливается знакомый мотив, уже звучат отдельные нотки.

— Повторите про мину, — говорит он угрожающе.

— Если прикоснуться к мембране, она как полоснет, и прощай...

Уже год идет война, а он на фронте так и не побывал. Продолжает свою кадровую службу в заштатном учебном минометном дивизионе, обучает новобранцев, выстраивает их в маршевые роты, а сам не устаивается и считает себя несправедливо обиженным. Вот почему противоречивые чувства разрывают ему сердце: с одной стороны, он, понимаешь, готовит пополнение, кадры. Всю душу, понимаешь, вкладывает. Не может сдерживать слез, когда провожает очередных маршевиков, им вытесанных из ничего, ну совсем, так и так, из ничего. А с другой стороны, вот они, понимаешь, уходят туда, на передовую, понимаешь, становятся героями, а он, понимаешь, здесь припухает, так и так...

— Товарищ сержант, — робко спрашиваю я из строя, — значит, вы сами на фронте-то не были?

— Отставить разговорчики! — кричит он.

Во время перекура мы сидим на бревнах. Он в центре. Он рассказывает, скольких он уже обучил и как они там сражаются.

— А что же это вас-то никак не пошлют на передовую? — спрашивает кто-нибудь.

— А кто ж его знает, — говорит он без охоты. — Может, позабыли, а может, здесь я нужен... А ну, кончай перекур! Становись! — И знакомая музыка разливается по учебному полю. — Бегом марш!.. По-пластунски! Давай-давай! Брюхом к земле, так и так! Акаджав, отставить карачки, на брюхе ползи, так и так! Грязно?.. А на передовой чисто?! Что значит «устал», так и так! Будешь ползти, покуда весь пар не выпустишь... Грязно ему, понимаешь... Встать! Бегом!..

И сам бежит с угрожающим ликом, и сам бросается брюхом в грязь и ползет с ожесточением.

— У меня не сачковать, так и так! Тяжело в ученье — легко в бою, так твою!.. Не можешь — научим, не хочешь — заставим!.. Окопаться!

И мы вгрызаемся в грязь, в камни, в корни, и воздух насыщен сопением, звоном, чавканьем, выкриками сержанта, пронзительной музыкой, мечущейся над нами от зари до зари.

Трудно сейчас представить, как я всё это проделывал, как не отвалились руки, ноги. Я ли то был, тот кривоногий солдатик с оттопыренными ушами, выброшенный из домашнего убогого тепла прямо в ожесточенные пятерни сержанта Ланцова? Я ли то был?

И по вечерам, прежде чем грянуться в полуобморочный сон, не до меня ли доносились вязкие нашептывания сержанта из дальнего угла: «Смерть чего хочет? А того, понимаешь, чтобы тебя перехитрить... Ты от нее беги, а она, так и так, быстрая, сука... Значит, ты не беги, а зарывайся. У нее — пуля, а у тебя чего? Лопата. У ней — штык, а у тебя чего? Карабин, понимаешь, заряженный. Вот так оно и идет: она пулю, а ты лопату, она штык, а ты пулю, она тут как тут, а у тебя окопчик, так и так... Ее перехитрить надо... Чего? За какой еще пенёк? Эх ты, грамотный... за пенёк... А воевать кто будет?.. Чего? А ежели доберется до тебя, стало быть, перехитрила...»

Я уже смутно вспоминаю это свое прошлое. Я погружен в горькую оглушающую музыку, встаю под неё, бегу, вылизываю котелок, ползу по грязи, таскаю мины, выслушиваю оскорбления... И всё под неё.

Мы иногда сопротивляемся. Мы иногда пытаемся примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые, дикие мелодии с иными нотами, ещё трепещущими в наших душах. Дрожь обиды ещё сотрясает наши тела. В поисках гармонии мы

выглядим нелепо. Но ведь мы маленькие люди с тонкими шейками и детским опытом, и поспешные мысли о расплате с обидчиком гудят в наших головах: отомстить, ответить, оскорбительно глянуть в голубые прищуренные глаза, усмехнуться, не опускать головы, помнить, что ты — центр мироздания, царь природы, пусть в шинели с чужого плеча, пусть на кривых ножках в блеклых обмотках...

Мы идем по пустынному, развороченному полю. Пахнет супом с вязкими ржаными галушками и единственным лавровым листком на всю батарею. И словно в небесах возникает хриловатое стремительное «за!», затем с понижением медленно, словно затаившееся в засаде, «пе-е-е», — и внезапно, как выстрел, «вай!..».

— Вай, вай, вай! — выкрикивает кто-то из кавказцев.

Он ставит нас по стойке смирно, чтобы до нас, понимаешь, дошло наконец, что это не песенки какие-то там, хочу — пою, хочу — не пою, в школе, понимаешь, там под всякие патефоны, так и так!..

Кругом! Шагом марш!.. — И прочь от столовой, от клейких вождельных галушек... — Это вам песня, так и так! Боевое задание... Выше головы! Будете у меня ходить хоть до отбоя, так и так, и после отбоя... А кто-то у меня два наряда вне очереди получит!.. Кругом! За-пе-е-е-вай!

И мы поем, чёрт бы его побрал.

После обеда мы сидим у столовой в ожидании построения. Дымок от самокруток вьется в сентябрьское небо. Сержант Ланцов, раскованный и вальяжный, треплется с другими сержантами. И вдруг все преобразается. Лейтенант Федоринин, командир нашей батареи, аккуратно ступая по лужам, подходит к нам... Это особый разговор.

Лейтенант — фигура малопонятная, почти таинственная. Мы его видим редко. Ему слегка за двадцать. Он строен и кудряв. И вздернутый носик, и розовые щеки, и тонкие губы, и сияющие хромовые сапоги, и два кубика в петлицах — все это наш командир батареи. Он какой-то другой, загадочный, из иных сфер, легко и плавно опустившийся на эту грязную землю... У меня холодеет спина.

— Батарея! — кричит сержант.

— Вольно... — снисходит командир батареи.

Лейтенант Федоринин — это почти божество, и кубики на его петлицах кажутся мне ромбами. Что уж говорить о командире дивизиона капитане Бовшике? Его я видел однажды, да и то издали, а если бы вблизи — грянулся бы, наверное, бездыханным.

По сержантовым скулам разливаются темень и свет, и скорбь заволакивает его голубые глаза, и хриплый его баритончик доверительно и неоднократно упоминает мое имя в том смысле, что Акаджав, понимаешь, самый нерадивый: и окапывается медленно, и на турнике подтягивается всего два раза, будто девка...

— Два раза? — усмехается лейтенант. — Ну и ну...

И когда все ползут по-пластунски, он норовит на карачках...

На карачках? — не верит лейтенант...

Мы все, товарищ лейтенант, бегим цепью, а Акаджав не бегит. Гляжу, кто, понимаешь, отстающий? Обрато Акаджав! Все, понимаешь, стараются, сил не шадят, а Акаджав с прохладцей... Я, товарищ лейтенант, с им в разведку не пойду...

Акаджав, Акаджав, ты, конечно, не прав, — думаю я обреченно.

Лейтенант Федоринин прищуривается в меня:

— Ну, Окуджава, что делать будем?

Я молчу. Все, что было сказано обо мне, наверное, правда. Это как песня, из которой слова не выкинешь. Но что-то душит меня, мешает мне ответить. Я хочу вздернуть голову, но она клонится. Я хочу открыто глядеть лейтенанту в лицо. Но вижу

носки своих перепачканных грязью ботинок. Это грязь войны, грязь моей судьбы. Разве она не укор вам, мои командиры? Разве ее недостаточно, чтобы выглядеть в ваших глазах достойным хотя бы сочувствия?

— А почему обувь грязная? — спрашивает лейтенант.

— Вот, понимаешь... — бормочет Ланцов.

Два наряда вне очереди! — говорит лейтенант звонко улыбаясь. — Сержант, через недельку доложите, какие успехи...

Через недельку я подтягиваюсь пять раз; ползя по-пластунски, словно ящерица, сливаюсь с грязью, задыхаюсь, выплевывая землю, подношу мины, готов умереть по мановению сержантова пальца... Я уж не говорю о том, как с помощью травы и тавота довожу до блеска свои ботинки... Где-то в глубине души теплится надежда, что лейтенант Федоринин видит все это, скрываясь за кустами, и одобрительно кивает кудрявой головой... Сержант окапывается со мною рядом, расплескивая вокруг хриплые проклятия немцам, их танкам, их орудиям, их матерям и женам, и Гитлеру, и... так вашу растак! Врешь, не возьмешь!.. Ланцова не возьмешь... Ланцов вас таких сам в душу... Нате, гады! А вот ещё... И так, и так!.. Я заморожен его откровениями и потому останавливаюсь и слушаю этот мотив, который с каждым днем становится мне понятнее.

Акаджав, опять сачкуете! Ройте глубже, так и так! — и смотрит на меня почти с омерзением.

Вечером, за десять минут до отбоя, я тянусь перед лейтенантом из последних сил. Я уверен в том, что на этот раз все у меня в ажуре: я был скор, ловок и красив; я ползал так, что вдавил грудную клетку; я окапывался молниеносно (пусть этот окопчик станет могилой вражескому солдату); я без запинки ответил устав; разобрал и собрал затвор карабина; по тревоге выбежал чуть ли не самый первый... остальные там чухались, а я уже выбежал...

— Когда окапывались, товарищ лейтенант, он, понимаешь, остановился и глядит, будто спит... Тут, понимаешь, каждая минута дорога...

— Рассеянность, товарищ Окуджава, — говорит лейтенант, — это бойца не красит...

— Это не рассеянность, — говорю я с отчаянием. — Это сосредоточенность...

Впрочем, не берусь утверждать, что именно эту фразу я произнес тогда: очень может быть, что попросту украл ее из фильма Владимира Мотыля, в котором незабвенный Олег Даль произнес ее с подкупающим очарованием. Не помню. Но что-то такое я из себя выдавил, пользуясь правом царя природы и еще подогреваемый едва слышной музыкой домашнего тепла, до которой, кроме меня, уже никому не было дела.

...В два этажа нары из сосновых досок — пристанище нашей учебной батареи. В самом конце — топчан сержанта, отгороженный от нас брезентовым пологом. У него там свой фанерный сундучок, в котором драгоценности и тайны, и он их перебирает с любовью, когда удастся на несколько минут избавиться от нас перед отбоем...

— Личное время, понимаешь: уставчик подзубрить, письма накатать... Мне писать некому: моя деревня под немцем. Ты, Акаджав, чего стоишь по стойке «смирно»? Садись... Личное время, понимаешь...

Он на меня не смотрит, роется в сундучке, вынимает открытку, рукавом с нее стирает пыль...

Наталья Крымова

Свидание с Окуджавой

Булат ОКУДЖАВА. Стихотворения. — М.: Изд-во «Советский писатель». 1985.

«В книге Булата Окуджавы — стихотворения, входившие в его сборники разных лет, а также новые произведения поэта...» Краткая аннотация содержит забавную ошибку. «Голубой шарик», «Вы слышите, грохочут сапоги...», «Ванька Морозов», «Из окон корочкой несёт поджаристой...» — это не «новые произведения поэта», а самые старые. Но они не только не «входили в сборники разных лет», а вообще **н а п е ч а т а н ы в п е р в ы е**. Что тут скажешь? Улыбнемся и поздравим Булата Окуджаву с первой публикацией.

Когда-то один критик утверждал, что у стихов Окуджавы есть слушатели, есть поклонники, но читателя нет. Какими смешными бывают критические утверждения. Впрочем, писавший сам был поэт и беспристрастностью не отличался.

Итак, новая книга. На обложке только имя и под ним шрифтом помельче: «Стихотворения». Не «стихи», а «стихотворения». Хорошее слово. Чуть старомодное. Чуть детское, но и изысканное тоже. Все, что надо для сборника Окуджавы.

По поводу предыдущей его книги возник спор. «Нет ничего проще, — писал один из спорящих, — как взять ее, перелистать... Но на этом вся простота и кончается». Мол, если не просто перелистать, а прочитать, тут же возникает сложность: попытка с ходу определить, что это, стихи или песни, сразу «наталкивается на сложную проблему жанра». Короче, или понятие лирического жанра в поэзии следует пересмотреть, или Окуджава лишь автор популярных песен.

Все-таки удивительная это история. Сначала, когда Окуджава запел, отрицали его песни. Освистывали, писали грубые статьи. Подвергали сомнению общественную значимость содержания. Манеру исполнения называли «унылым речитативом», рассчитанным на мешанские вкусы. Всячески оберегали молодую аудиторию от влияния вредной «моды». Потом привыкли. Песенки были всё такими же, слушатели от них не делались хуже.

Окуджава отказался от той безличности, которая была как бы обязательной печатью на пропуске в песенный мир. Собственно, здесь объяснение тому, что в песне сделал Булат Окуджава. Об этом довольно точно сказал всё тот же постоянный оппонент, пишущий стихи: «Творчество поэта, тяготеющего к песне, как правило, отмечено печатью лирической бесхарактерности. Слишком на большую аудиторию он работает, чтобы позволить себе роскошь быть самим собой».

Окуджава эту «роскошь» себе позволил. Его песни приобрели массовую любовь, оставшись абсолютно индивидуальными. Тихо-тихо, как-то незаметно, но во многом

благодаря именно этим песням понятие об индивидуальном возвысилось там, где цену, казалось, имело только общее, принадлежащее всем и никому в отдельности. То, что при пересказе укладывается в несколько строк, явилось между тем содержанием долгой и серьезной борьбы, длившейся ни много ни мало лет двадцать пять. Эту борьбу Окуджава выиграл. Вернее, выстоял, потому что в роли активного драчуна не выступал. Кто знает, может, самым сильным оружием в борьбе за свое искусство является способность художника оставаться самим собой.

Так же спокойно, не размахивая руками, он вступил в новый этап, когда спорить стали уже не о его песнях, а о стихах — какого они рода и вида. Есть основания полагать, что и через этот период Окуджава пройдет со свойственным ему достоинством. Тем более что страсти критиков переместились в сторону его прозы, и там возникли новые яростные оппоненты. Один из них, кажется, и известность приобретает периодически — от одного романа Окуджавы до другого.

Пока этот поэт будет писать, о нем будут спорить. Прежде всего потому, думаю, что в самом понимании поэзии никогда не было согласия ни у критиков, ни у поэтов, и в эту вечную несогласованность, в самый ее эпицентр и угодил Окуджава. Что касается поэтов, то дело скорее даже не в «понимании», а в умении. Склонность к писанию рифмованного текста с годами закрепляется умением, становится постоянным занятием, в котором накапливается свой опыт. Пишущий твердо знает, что в поэзии должно быть *понятное*, (недвусмысленное содержание, несущее в себе ясную, полезную идею, и всё это — содержание, идею и тому подобное — при необходимости можно легко определить и объяснить. Его же дело — всё это зарифмовать. Я кое-что огрубляю, чтобы обрисовать некий тип поэта. Он существовал и до Пушкина, и при нем, распространен и ныне. Окуджава к этому типу не принадлежит.

От всякого рода пересказов и объяснений уклоняется его дар. «Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет...» В этих строчках, не без лукавства доведенных почти до шарманочного примитива, быть может, существо его поэзии. В ней та легкость, та воздушность, которые избегают до конца договоренных определений. Эта поэзия живет, будто не прикрепленная к земле и к листу бумаги. Но и с «землей», и с «листом бумаги» у нее своя связь.

Через пятнадцать лет после войны Булат Окуджава написал примерно о том же, о чем в свое время писал Константин Симонов: о буднях войны, о ее дорогах, об ожидании, о женщинах, которые глядят из-под руки, дают увидеть рядом со смертью волны клевера и свои бездонные глаза, хотят любви и жалости, сами жалеют и любят, коротко или долго.

Но ко всем этим картинам и переживаниям обратился поэт другого времени и совсем другого характера. Одно дело — опытность известного военного корреспондента, чьи стихи и очерки печатались в центральных газетах, совсем другое — мальчишеско-солдатское сознание, потрясенное войной настолько, что воскреснуть к поэтической жизни оно смогло лишь спустя многие годы.

Тот поворот или тот ракурс общей и большой темы, который был избран Окуджавой, можно определить известной фразой: солдатами не рождаются.

Рождаются детьми с круглыми затылками. Рождаются мальчишками и девочками, которые жужжат в своих мирных дворах. Играет радиола; бушует весна; волшебным постукивают каблучки по тротуарам. И вдруг — грохот барабана, зов трубы. Началась вдруг война — не успели попрощаться. И Лёнька Королёв — кепчонку набекрень — уходит первым. Обривают затылки. Надевают сапоги, шинель казенную. До свидания, мальчики. А потом со двора уходят девочки. Прощай, пехота. Где-то на передовой

в первый день солдату снится собственный страх. А наяву рукопашная возня, атака, атака, охрипшие рты. Окопная каша.

И вновь играет радиола. Но во дворе кого-то навсегда, навечно нет. Ах, война, что ж ты сделала, подлая...

Солдатами, когда надо, неизбежно становятся — это симоновский мотив. Время изменило его интонацию. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» — поперек этой неизбежности написал свое Булат Окуджава. Даты в новой книге дают повод о многом задуматься. Песня написана в пятьдесят восьмом году. Уже лет тринадцать как было тихо. Но уже другой тревогой разбужено сознание, общественное и личное. Человек по-новому взглянул на свою биографию и на судьбы своих близких, на раны и подвиги страны. То, что вчера казалось невыносимым, предстало реальностью. То, что раньше было разумеющимся, вдруг перестало укладываться в голову и потребовало самостоятельной работы мысли. Внезапно обретенная новизна зрения — вот примета поколения, к которому принадлежит Булат Окуджава.

Напевая свои песенки, поэт вторгся в сферу стереотипов и указал (пальцем ни на что не указывая) на значение индивидуального, личного мировосприятия и вообще на значение этой частной и единственной человеческой жизни. Поэт Окуджава уже никогда не освободится от опыта, через который он прошел вместе со всеми, осмыслив его один на один со своей совестью.

Один — и вместе со всеми. В одиночестве — своя душевная работа и своя гордость. Вместе со всеми — желанное состояние, но оно всегда вопросительно. Оно тревожно, потому что поэт всегда на виду, на открытом месте. Он на подмостках, даже если думает, что спрятался от всех и пишет исторический роман.

«Оставьте, мы не на подмостках», — возражает героиня ранней пастернаковской прозы. «Вы ошибаетесь, синьора, — отвечает ей поэт, — мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль... Человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами... и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато».

В любом освещении лицо Булата Окуджавы остается неизменно серьезным и спокойным — ему по силам та естественность, которая как роль. Он научился и на публике не терять состояния сосредоточенности, которое дает возможность видеть вокруг не только публику, но краски мира, чувствовать все его запахи. «Вот черт, как ничего еще не надоело!» «Я жаден до всего вокруг...» Теми или другими словами выраженное, но это острое чувство жизни, не исчезающее согласие с нею и, да простятся банальные слова, любовь к ней. В этой любви Окуджава и воспитывает нас вот уже целых тридцать лет.

На первой странице слова: «Эту книгу я посвящаю моей маме». И стихотворение, написанное в пятьдесят седьмом. Называется «Новое утро».

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит...

Три простеньких четверостишия. Почти детский напев. Но очень верный камертон книги. Если внимательнее вчитаться, — не кто иной как Булат Окуджава. Знакомое легкое касание рифм, знакомый мотив надежды. Знакомая нежность. Многие чувства, сменяя друг друга, ходят-бродят вокруг одного, главного, развивая его и продлевая во времени. «Мой дорогой, пока с тобой мы живы, всё будет хорошо у нас с тобой...» — это появилось позже, когда свое, прочное место в поэтическом опыте

Николай Подосокорский

Громадная тень корсиканского гения

*Наполеоновский миф в романе Булата Окуджавы
«Свидание с Бонапартом»*

Применительно к роману «Свидание с Бонапартом» (1983, журнал «Дружба народов» № 7—9, отдельное издание — 1985), который сам Булат Окуджава неоднократно называл своей лучшей книгой, критики нередко говорили о его *недооцененности* или о *несправедливости к нему судьбы*. Роман-размышление об изнанке войны и патриотизма вышел в самое мрачное и беспросветное время советского «застоя», а когда внезапно начались перестройка и политика гласности, всем стало не до тонкой интеллигентской рефлексии, облеченной в одежды начала XIX столетия, поскольку всё внимание захватили современность и опыт тоталитарного XX века.

Не повезло и выставке Государственного литературного музея «Свидание с Бонапартом», на проведение которой было получено благословение автора романа на его юбилейном вечере в Литературном музее в 1994 году. Как пишет Генриетта Медынцева: «В последний момент произошла малопонятная вещь, неслыханная в музейной практике: полностью подготовленная и даже аннотированная выставка, с готовым экспозиционным и художественным решением, была отменена на стадии монтажа. Воистину музейное Ватерлоо»¹.

Этот роман Окуджавы часто называют историческим. Действительно, известно, что герои «Свидания с Бонапартом» имеют реальных прототипов, а текст опирается на исторические документы вроде «Предсмертного завещания русского атеиста» ярославского дворянина Ивана Опочинина или записок французской актрисы Луизы Фюзи².

В произведении вообще содержится довольно много отсылок к самым разным историческим трудам и мемуарам, посвященным эпохе наполеоновских войн и царствования Александра I (удивительно, что до сих пор не существует ни одного издания романа с соответствующим историко-литературным комментарием!).

¹ *Медынцева Г.Л.* Проект выставки Государственного Литературного музея «Свидание с Бонапартом. Феномен Наполеона в русской культуре» // Наполеон. Легенда и реальность: Материалы научных конференций и наполеоновских чтений. 1996—1998 / Сост. А.А. Васильев, Г.Л. Медынцева. Ред. В.В. Савицкий. М.: Минувшее, 2003. С. 365—374.

² *Бойко С.С.* Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины XX века. М.: РГГУ, 2013. С. 340—368.

Вместе с тем правильнее было бы назвать роман историософским, историко-психологическим или даже просто гуманистическим, ибо в центре истории для Окуджавы стоят не столько деяния царей и полководцев, интересы государства или события национального значения, сколько отдельный «маленький» человек, с его личными слабостями, причудами, потаёнными страхами, представлениями о счастье, сомнениями и надеждами. Как поясняет «бедный господин» Мендер, убежденный в том, что войска Бонапарта вторгаются в разные страны исключительно ради преследования его персоны якобы в отместку за то, что он сам некогда успел повоевать в Италии: «Я много размышлял над хитросплетениями судеб. Я смог наконец проникнуть в тайны человеческих связей, и я понял, что даже случайный жест безвестного обывателя слит с историей всего человечества»¹. В этом смысле роман «Свидание с Бонапартом» гораздо более близок не столько таким традиционным историческим романам о войне 1812 года, как «Рославлёв, или русские в 1812 году» (1830) М.Н. Загоскина, «Пётр Иванович Выжигин» (1831) Ф.В. Булгарина, «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» (1832) Р.М. Зотова и др., сколько гораздо более сложным и глубоким высокохудожественным произведениям Ф.М. Достоевского, пронизанным наполеоновским мифом².

Безусловно, всю проблематику сложнее устроенного романа Окуджавы никак нельзя сводить только к образу Наполеона Бонапарта, но уже само название произведения объективно акцентирует читательское внимание именно на этой легендарной фигуре как на основополагающей и стержневой. Собственно, роман и начинается со слов о Наполеоне, который практически стоит на пороге дома некогда спасенного им отставного русского генерала Николая Опочинина: «...Если Бонапарт будет идти так, а он будет идти так, то через три, от силы четыре недели достигнет порога моего дома. Когда он явится (а миновать Липеньки он не сможет), я буду кормить его обедом в большой зале. Предвкушаю сладость свидания!». Это смещение точки зрения на великие исторические события с *всемирного* и *национального* уровня до уровня *личного* и *домашнего* весьма характерно для Окуджавы. Грандиозный Московский поход Великой армии императора французов герой писателя сниженно называет «прогулкой»: «Впрочем, что это все нынче в сравнении с кровавой прогулкой, затеянной Бонапартом?.. Корсиканский гений шагает по августовской России не разуваясь, не снимая треуголки³, в напрасном ожидании битвы. На фоне пылающего Смоленска, издалека видная, колеблется его громадная тень».

Можно сказать, что «Свидание с Бонапартом» является своего рода квинтэссенцией наполеоновского мифа в русской литературе XIX—XX веков, и, кажется, после неё столь же значительных художественных произведений на эту тему в России больше не появлялось. У Окуджавы наполеоновский миф раскрыт в самых разных аспектах, и автор ведет многоплановый диалог со своими предшественниками, творцами золотой и черной наполеоновской легенды: от Карамзина времен первых выпусков «Вестника Европы», через которые в русское сознание во многом проник

¹ Здесь и далее цит. по: *Окуджава Б.Ш.* Свидание с Бонапартом: Роман. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 496 с.

² О наполеоновском мифе в творчестве Достоевского см.: *Подосокорский Н.Н.* Наполеон и 1812 год в творчестве Ф.М. Достоевского // 1812 год и мировая литература / Отв. ред. В.И. Щербаков. — М.: ИМЛИ, 2013. С. 319—364; *Подосокорский Н.Н.* «Наполеоновский» Петербург и его отражение в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. — Филологический журнал. 2022. № 4 (20). С. 71—135.

³ Слова о «треуголке» Наполеона — дань Окуджавы известным поэтическим описаниям французского императора (ср. со стихотворением Лермонтова «Воздушный корабль» (1840): «Из гроба тогда император,/ Очнувшись, является вдруг;/ На нем треугольная шляпа/ И серый походный сюртук»). На самом деле Наполеон носил не треугольную, а двуугольную шляпу (bicorne). Треуголки практически вышли из обихода уже в конце XVIII столетия.

начальный вариант наполеоновского мифа (в нем первый консул Французской республики Бонапарт описывался, в первую очередь, как выдающийся государственный деятель), до Пушкина, Гоголя, Толстого, Алданова и др.

Например, четырежды повторенное обращение Тимофея Игнатьева к своему дедушке «Скажи-ка, дядя...» на фоне разговоров о Бонапарте, несомненно, отсылает к началу знаменитого лермонтовского стихотворения «Бородино» (1837), в котором участник войны 1812 года, живописуя ожесточенную баталию, также сокрушается не о судьбе государства, но о «плохой доле», доставшейся людям того времени.

В целом роман Окуджавы не столько антибонапартистский (Бонапарт ни разу не назван в произведении *антихристом* или *врагом рода человеческого*, хотя на создание такого наполеоновского образа работала вся церковная пропаганда военных лет)¹, сколько *антимилитаристский*. «...Никто еще до сего дня не смог доказать, что бряцание кованой сталью и реки крови могут осчастливить людей и принести им долгожданное успокоение», — восклицает Варвара Волкова. Ей вторит ее возлюбленный Александр Свечин: «Разрушить легко, но как *быть* потом? Все знают, как разрушить, как пустить кровь, как вздернуть, как захватить, как покорить... Но как сделать меня счастливым, не знает никто».

Поскольку роман разбит на четыре части, в двух из которых основными рассказчиками являются женщины, можно заметить, насколько для автора был важен *женский* взгляд на войну и гений Наполеона, отличающийся от *мужского* тем, что он напрочь лишен восхваления сильных мира сего и кровавых побед, одержанных даже *своими* над *врагом*. Впрочем, женщины у Окуджавы, как и героини-мужчины, так же носят в себе наполеоновский вирус. Характерно в этом смысле описание Варвары Волковой как *завоевательницы*, сравниваемой с «завоевателями былых времен» наподобие Марьи Москалёвой из «Дядюшкиного сна» Достоевского².

Произведение Окуджавы всё строится на парадоксах и антиномиях, когда одни и те же вещи одновременно влекут, притягивают и отталкивают, вызывают отвращение у героев. Оценка одних и тех же событий и людей гиперподвижна, находится в постоянном изменении, а размышления о войне, свободе, равенстве, общественном устройстве или Бонапарте скорее ставят всё новые и новые вопросы, а не дают на них четкие и безусловные ответы.

Само название романа, с одной стороны, говорит об определенной симпатии к Наполеону, поскольку речь в нем идет все-таки о *свидании*, а не просто о встрече, и тем более не о стычке, споре или противоборстве. С другой стороны, то, что французский полководец назван именно Бонапартом, а не Наполеоном, демонстрирует явное понижение его статуса. Известно, что на острове Святой Елены английский губернатор Гудсон Лоу демонстративно отказывался именовать ссыльного императора *Наполеоном*, называя его не иначе как «генералом Бонапартом»³.

Возможно, дело еще и в том, что как *генерал* Бонапарт был равен Николаю Опочинину, так же генералу, и вполне мог принять приглашение последнего вместе отобедать (а весь роман изобилует рассуждениями о равенстве людей в правах: «У нас нынче в России все генералы, представь себе»).

Свидание с Бонапартом — это прежде всего встреча героев со своим внутренним Наполеоном, который всё вместе: гений и злодей, завоеватель и освободитель, спаситель и кровопийца, великий государственный деятель и узурпатор. Размышления

¹ Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн. — М.: Кучково поле, 2007. С. 68—80.

² См.: Подосокорский Н.Н. Наполеоновские войны в «Дядюшкином сне» Ф.М. Достоевского // «Вопросы литературы», 2011. № 6. С. 350—362.

³ Тарле Е.В. Наполеон // Тарле Е.В. Сочинения в 12 т. Т. 7. / Ред. тома М.В. Нечкина. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. С. 371.

Мария Бушueva

Эссе о Мусоргском

Предварю свой отзыв о романе небольшим уточнением: читала, стремясь максимально отстраниться от прототипов, которых, конечно же, нельзя не узнать в отце и сыне — главных героях. Включенные в роман отрывки из книг Павла Мейлахса, как мне кажется, стоит тоже воспринимать отстраненно, соотнеся их с психологией героя, а не с автором-писателем. Хотя, наверное, не лишним будет напомнить, что о творчестве Павла Мейлахса писали многие, и привести хотя бы пару отзывов. В свое время, рецензируя роман «Пророк», вдумчивый прозаик Владимир Шпаков очень точно обозначил резкие эмоциональные перепады прозы Мейлахса: «Герой постоянно меняет координаты, бросается в крайности, и амплитуда этих бросков — от жгучей ненависти к мирозданию, замешенной на мании величия, до полного самоуничтожения — плюс целый ряд промежуточных состояний». Тонкий и наблюдательный Валерий Попов выделил из эмоциональных зигзагов наиболее, на его взгляд, отчетливую линию: «Совмещать состояние собственного страха с высоким литературным мастерством удавалось лишь истинным чемпионам этого жанра: Гоголю, Кафке, Гофману и немногим другим. И теперь в этот жанр, на мой взгляд, самый ценный в мировой литературе, врывается Павел Мейлахс. Как этот жанр опасен для автора, видно по жизни и Гоголя, и Кафки, и Гофмана».

Как жанр опасен, читатель убедится сам, прочитав роман Александра Мелихова, в определенном смысле продолжающий

«Отцов и детей». Основной конфликт, несомненно, кто-то сведет к проблемам поколенческим, заострившимся на фоне кризисных для многих перемен социальных, но, мне кажется, это будет всего лишь наложением готовой схемы на глубокую реку человеческих отношений: любви и ненависти, страха и отчаянья, надежды и безверия. Отец и сын, явленные в романе, точно так же могли страдать и любить сегодня, вчера, годы и даже столетия назад. И точно так же могли сталкиваться в родственной битве идеалы, потому что, вопреки всему, идеалы вечны.

Голос отца: «Красота, высота, чистота — всё, что для нормальных людей является украшением, для меня кислород, без которого я задохнусь. Подозреваю, что со временем начнут задыхаться и другие, только им для этого потребуется гораздо больше времени».

Отец — жрец храма Чистоты, никогда не забывающий, что происходит «из аристократического советского семейства», жившего культурой. Его родителям-учителям были чужды советские лозунги, в их разговорах не звучали слова «деньги, достал, повысили, понизили», а самой сильной формой осуждения была брезгливая интонация. Потому закономерно, что герой-рассказчик, выросший на книгах и музыке, устремился в чистую науку — «хрустальный Дворец на сияющей вершине». Вроде бы всё у него в жизни сначала складывается удачно: победы на математических олимпиадах, университет, престижный факультет, взаимное чувство с девушкой-студенткой, брак по любви, рождение ребенка... Молодая жена красива, умна, она выросла в простой русской семье, не обделённой

Александр Мелихов. Испепелённый: Роман. — «Знамя», № 1—2, 2024.

вниманием к красоте: ее мать, «святая бабушка Феня», «еле живая от нищеты <...> и многомесячных бессонных ночей с обезумевшим мужем», способна была ночью вывести девочку на крыльцо, чтобы вместе с ней послушать пение соловья. И дочь любит литературу, одарена музыкально. Пение дуэтом с мужем — символ полного слияния, экстаза душевного единения. Но, оказывается, обычная семейная жизнь для молодого мужа — тягостный довесок к его идеалу чистоты. Отцовские обязанности невыносимы, если их не возвысить до красоты служения, до акта чистой жертвенности, тогда они превращаются в самый хрустальный из всех хрустальных дворцов.

Увы, время идет, дети растут, не только любовные лодки разбиваются, разбиваются и сверкающие дворцы родительского служения. И порой в осколках отражаются как лучезарные ангелы, так и монстры, одержимые мстостью или охваченные злым отчаяньем. И вот из счастливого зачина постепенно вырастает сюжет о семейной трагедии: алкоголизме сына и его смерти, о метаморфозах и гибели чистой души, о душевной ране отца.

Голос сына: «...Презрение, так видится твое ко мне отношение. Автоматический ответ на него — ненависть. Не постоянная, конечно, но загнанная вглубь и прорывающаяся в невменяемом состоянии. Наверно, это вариант всё той же формулы — ненависть отвергнутой любви. Мне иногда кажется, что ты сам солдат какого-то невидимого фронта, и меня тоже воспитывал солдатом, а я оказался предателем. И ты не можешь мне этого простить...»

На первый взгляд, причина драматических отношений в несоответствии слишком высокой планки, установленной отцом — жрецом храма Чистоты, — природным возможностям сына. Ощущая свою неспособность красиво взлететь в прыжке до «сияющей вершины», опаснее, но проще предпочесть непосильному волевому напряжению — падение, — таким видится ответ сына на завышенные требования. И охваченный всё нарастающим отчаянием от собственного несоответствия ожиданиям отца сын возвел падение в философию своей жизни.

Вердикт отцу выносит его любовница Фифа. На признание, что он хотел вселить в сына способность при любых обстоятельствах сохранять достоинство, она отвечает: «А вселил

неуверенность. Потому что невозможно сохранить достоинство, если понимать его как незапятнанность».

Любовница-аспирантка — «всем чистюлям чистюля», потому и Фифа. В повести у всех есть имена-прозвища. Сын — Ангел (мотив падшего ангела, конечно, отчётлив), его мать — Колдунья (из-за сходства с Мариной Влади, когда-то сыгравшей Олесю в экранизации одноименной повести Куприна), шеф-членкор зовется Анфантеррибль (он вызывает восхищение и ужас своими нестандартными масштабными подходами)... Эти имена, по идее, противопоставлены прозвищам блатных «квартальских уродов», однако тоже отражают приоритет свойства, то есть части над целым. Дружкой с «грязными» блатными гордится бывший интеллигентный очень добрый мальчик, ставший подростком. Что остается отцу — жрецу храма Чистоты? Наверное, лишь одно: хранить гордое терпенье. Блатную компанию объединяют наркотики, протест против «буржуев» и рок-музыка.

Голос сына: «...Играющие рок, он видел их на фотографиях — как они были великолепны! Дранные, волосатые, оружие. Гитары, микрофоны, ударные установки, провода по всей сцене. Вот это — жизнь. Вот это — действительно. Они казались ему пророками».

Голос отца: «...Нынешнее ожлобление открыло мне глаза, что Ангельские дружки были не хорохорящейся гопотой, а втоптаннми в прах земной душами, пытающимися прорваться в какие-то небеса. И Ангел оценил этот порыв, а я не оценил».

Есть в романе очень важный мотив — мотив страха. Страх за свою жизнь, доходящий до фобий, сын начал испытывать, ещё будучи ребенком. Один как бы случайный эпизод приоткрывает его характер. Отцу, показывающему мальчику через Неву Стрелку, Зимний, Адмиралтейство, захотелось пошутить, и он спросил: «Если упадешь, что ты будешь делать?» И ребенок ответил «жалобно и честно»: тонуть. Отец-рассказчик пытается объяснить постоянные страхи сына, которые тот скрывал, пережитым им приступом кардиоболести. Но, скорее, бессознательный страх (а, возможно, как следствие — болезнь сердца) вызывало у ребенка смертельно пугающее опасение: *таким*, каков он есть, он миру не нужен. Отец сильный, а он слишком

слабый. Он не способен бороться. Он может только в отчаянии идти ко дну, видя в этом свой бунт. К тому же его мать, считая мужа оторванным от реальности гением, неосознанно ещё завышала планку: получалось, чтобы победить отца, сыну нужно гением стать. Или — достоверно сыграть роль гения, стерев границу между ролью и жизнью своей гибелью, — чтобы гибель высветила лицо гения, который, «безрукый, безногий и немой», был «погребен в нем заживо».

Голос сына: «...Лет с четырнадцати я ловил себя на мысли, что втайне хочу убить отца».

Но конфликт глубже проблемы ожидания и несоответствия. Рок-музыка выражала общий подростковый вызов скуке привычного взрослого мира, а социальный ветер свободы сбил этические «дорожные знаки» — путеводные для поколения родителей. Конечно, наступившая свобода «быть любимыми», опасная на дорогах, лишенных ориентиров, не означала для сына свободы от власти отца, а лишь позволяла придавать бунту любые формы. Вероятно, и рок стал не только страстью, не только экстазом единения с друзьями, не только отрицанием «классики» семьи и школы, но и самой влекущей формой личного бунта против экзистенциально опасной «зеркальности» с отцом. И это предположение, существенное для понимания конфликта романа, в тексте намечено. Отец видел в сыне свое продолжение, видел не отдельного взрослеющего человека, а самого себя. В конечном итоге — свою тень. «Зеркальность» проявлялась буквально во всём. И напиваться отцу в юности «случалось с большим размахом», и культ экстаза душевного слияния — от него, и нестерпимая для него скука «обычной жизни», и полёт воображения... Обладая силой, отец неосознанно отрезал все ростки, не вписывающиеся в собственное отражение, — своё второе «я». И Ангел восстал против власти — интеллектуальной, этической, эстетической — Бога-отца, возжаждав уничтожить его, чтобы стать самим собой. Прорыв сына к себе только начался, но был прерван... Победить Бога-отца с «обугленным» от страданий лицом не удалось — он всё равно оказался много сильнее, ибо в идеалы свои *верил*. Оставалось единственное — сделать его своим заложником и попытаться сменить роли. И эта попытка оказалась безуспешной.

Да, отец теперь жил в постоянном стрессе, но повержен он все-таки не был. Внутренний стержень в нем оказался, в отличие от хрустальных дворцов, не разбиваемым, а протест сына слишком инфантильным и саморазрушительным. Бунт отчаянья затянулся на годы. Не войдя в дверь взрослого мира, сын с яростью эту дверь захлопнул для себя навсегда. Часы его личного времени остановились, теперь вечно показывая «час подростка». Когда пьяный падший Ангел бьет свою бывшую жену, он с ненавистью думает: «Взрослая. <...> Женился на довольно милой девушке, а какая отвратительная взрослая тетка получилась из нее...» Самое лучшее в себе падший Ангел стал презирать, «считать порядочность и доброту трусостью», а отцовский идеал «чистоты» забросал «грязью», в результате тотально отвергая собственную жизнь.

Бунт становится нескончаемой реакцией распада. «Обугленное» лицо отца превращается в «испепеленное» лицо сына.

Голос сына: «Наверно, я был рожден, чтобы распространять прекрасное и высокое. Даже сейчас, уходя, я верю в высокое и прекрасное. Моя логика противоположна той, что получила у нас довольно широкое распространение: я дерьмо, следовательно, пусть весь мир будет дерьмом. Я никогда так не рассуждал. Дерьмо я и только я. Ничего больше из этого не следует».

Я оказался недостойн своей миссии».

Впрочем, в падении и распаде был эстетический ориентир, опять же заданный отцом — Мусоргский. Перед сном вместо колыбельной отец напевал «или увертюру к любимой “Хованщине”, или арию Юродивого из “Бориса Годунова”». Музыкально одаренный ребенок первую серьезную фразу не произнес, «а пропел ангельским голосом из арии Юродивого: “Лейтесь, ле-е-ейтесь, слезы го-орькие...”».

Судьба любимого композитора отца и ария Юродивого стали роковыми образами для сына.

Голос отца: «...Я считал весьма завидной участь “гений умер в нищете”, — ведь гении живут в своих творениях. Так что Мусоргский и поныне живет всех живых. Но что вызывало мучительную жалость к нему — он не успел закончить “Хованщину”. Смерть прервала, мерзкое хамское насилие вульгарной материи над великим духом! Из грязи грязь!»

Даже то, что любовница Фифа жила «в доме Мусоргского», наделяло ее романтическим ореолом. А вина мужа перед женой смывала невольную обиду: через Колдунью вошла в жизнь семьи «несмываемая грязь» отношений с её братом. Драма русского по матери, по еврейским законам — не еврея, а русского, но для людей малокультурных — не русского из-за еврейской фамилии, — особая линия повести. Израиль, куда попытался сбежать Ангел, оттолкнул его отсутствием личной истории, дорогих памяти сердца штрихов родного Ленинграда-Петербурга, без которых он бы потерял себя окончательно. Здесь сын снова повторяет отца, уверенного, что где-то он, может быть, нашел бы и деньги, и почёт, но это было бы для него прозябание, а не жизнь.

И все-таки ошибочно сводить причины трагедии отца и сына только к психологии. Есть нечто более глубокое в каждой судьбе, и это не обязательно генетика. В романе предпринята попытка найти объяснение в дурной наследственности. Но тысячи людей имеют в генетике ту или иную предрасположенность: к болезни, алкоголизму, деструктивному поведению, — но не заболевают, не спиваются, не кончают с собой. Семейный рисунок отношений крайне важен, однако не он является первичным пусковым крючком. Да, сын пытался прорваться к самому себе и не смог вырваться из роли второго «я» отца, но за отцом и за матерью любого ребенка стоит нечто большее: их родовая история.

И когда Ангел восклицает: «Я расплачиваюсь за какие-то чужие грехи! Я их не совершал! Кальвинизм какой-то! Мне суждено погибнуть!» — это более значимо для разгадки тайны его судьбы, чем все другие причины, психологически объяснимые. Мы слишком самоуверенны, убеждая себя в собственной отдельности. Человек — строка в повести его рода. И всего лишь продолжает текст, ему невидимый, написанный до него. Потому интуиция Ангела могла подсказать верно — судьба его действительно стала расплатой за чью-то гибель или тяжкий грех, жертвоприношением будущему: потомкам ли, искусству ли, а может быть, и той подлинной досоветской России Пушкина — Лермонтова — Толстого — Достоевского, которую продолжал упорно воскрешать в себе отец и о которой тосковал он, его сын. Ответ на тех страницах, которые ещё не написаны, он — впереди.

...Когда жена порой присоединялась к пению, в муже посыпалось чувство вины за свои измены: «При Мусоргском в нашей с Фифой любви проступала нечистота».

Через много лет сын пришлет эссе о Мусоргском.

Голос отца. «Он перебирал все обиды, чинившиеся несчастному гению, оплакивал его жуткие запои, когда он всё пропивал с себя, писал, что ощущает его своим беспутным гениальным сыном и всю жизнь мучается оттого, что не может передать ему свои оставшиеся бессмысленные годы, чтобы тот дописал “Хованщину”».

Андрей Пермяков

Облачная дисциплина

Некоторое время назад, между 2014 и 2019 годами, Илья Фаликов написал четыре книги о четырёх поэтах¹. Те книги вызвали серьёзный интерес, резонанс, и одним из немногих, но странноватых пунктов критики (в *придирчивом* смысле данного термина) была высокая скорость появления работ и их якобы «одинаковость». Хотя сходными меж собою те труды могут показаться разве что инопланетянину или человеку, совершенно не знающему русского языка: столбцы стихов, разделённые более или менее длинными фрагментами авторского текста. Вполне легитимный метод.

Мы свой отзыв организуем совершенно аналогично. Цитат будет немало. А биографии, написанные Фаликовым, были абсолютно разными. Скорости их прочитывания фундаментально различаются. И дело не в толщине корешка, конечно же: на восприятие страницы в каждом из томов уходит порядково различное время.

Илья Фаликов. Прости: Стихи 2019—2023. — М.: Буки Веди, 2023.

¹ Фаликов И. Евтушенко. Love story. — М.: Молодая гвардия, 2014. (Серия ЖЗЛ). — 704 с.; Фаликов И. Борис Рыжий. Дивий камень. — М.: Молодая гвардия. ЖЗЛ. Малая серия, 2015. — 292 с.; Фаликов И. Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка. — М.: Молодая гвардия. Серия ЖЗЛ. 2017. — 864 с.; Фаликов И. Борис Слуцкий. Майор и муза. — М.: Молодая гвардия. Серия ЖЗЛ. 2019.

Журнальные варианты всех четырёх книг были опубликованы в «ДН» (соответственно № 7, 2013; № 4, 2015; № 6, 2016; № 5, 2018).

Не во времени дело-то, а в пространстве.

Фильм «Облако-Рай»

Впрочем, сущностное сходство присутствовало. Прежде всего, труды были поэтическими. В повествовании о Цветаевой сказано: «В моем тексте немало незакавыченных цитат, как это делается в поэзии, к каковой, смею надеяться, прикосновенна эта книга».

«Прикосновенными к поэзии» оказались все перечисленные исследования. Более чем прикосновенными. Приведём несколько цитат вперемешку. Сперва — сугубо поэтических. В расхожем смысле термина.

«Там был сад великолепный до небес».

«Жизнь его — туманное облако при неясной погоде».

«Бывают страшные сближения».

«Взаимосвязи муз и музык не так уж и замысловаты».

«В ту пору критики себя уважали особенно глубоко».

«Лютый друг художественной интеллигенции».

«Раздутый, как сломанная нога, шланг».

«Море стало абстракцией, полоской сини».

«Других женских имен в его мужской судьбе не отмечено. Большой конспиратор».

Столь же интересны наблюдения за коллегами по поэтическому цеху.

«...Четырехстопный ямб вообще больше, чем что-либо другое, роднит русских поэтов, делая их порой схожими чуть ли не до неразличимости».

«Евтушенковская романтика похожа на романтику того же Багрицкого, как слово “карбас” на слово “баркас”».

«Есть как минимум два типа литературного поведения поэта — евтушенковский

и чухонцевский. Сопоставление обоих стихотворений свидетельствует о том, что одно не исключает другого».

«Поэт обобщает, исходя из реальности, но не привязан к ней буквально. Этот зазор надо всегда помнить, когда ищешь подробности его бытия — в стихах».

«Крупный, громкий предшественник всегда остаётся — так или иначе. Отдалённым отзвуком, гулом отталкивания».

«Поэзия по определению несёт в себе онтологический гул».

«С какого-то возраста у поэта начинается время постскриптума: дописывания, додумывания, договаривания, если не происходит тот случай, когда приставка “до” меняется на “пере”: так было у Брюсова, Белого, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского».

«Возблагодарим верлибр. Очень информативная вещь, незаменимая для биографа».

Наконец, афористичные метавыводы о ремесле критика.

«Проходной продукт газетчины — рецензия».

«Господи, неужели так и рождается критик — когда у поэта нет стихов?»

«В моём тексте авторская речь ведётся от “мы” и “я”. Это “я” выскакивает из-за спины “мы” потому, что это одно и то же».

Последняя фраза важна отдельно — в контексте разговора о новой поэтической книге Фаликова. Но всё же ещё чуть-чуть остановимся на его литературно-биографических трудах: когда давным-давно состоявшийся поэт, влиятельный критик, автор интереснейших сборников жанра «прозапростихи»¹ целенаправленно пишет о четырёх совершенно разных авторах, сие что-то да означает.

Естественно, связи — где яркие, где мерцающие — между четырьмя поэтами в книгах установлены. Скажем, влияние Слуцкого на Рыжего очевидно вполне. А Евтушенко в ответе на очень давнюю анкету журнала «Юность» говорил, что его отношение к Цветаевой сходно с восхищением рабочего коня перед кентавром. Цитата упорно не хочет

обнаруживать себя, оттого кавычки ставить не буду. Тут можно бы вспомнить восторги Бродского по поводу Марины Ивановны и поёрничать на тему не таких уж и фундаментальных различий между знаменитыми почти современниками по второй половине XX века: Иосифом Александровичем и Евгением Александровичем. Но, во-первых, на эту тему писано много, в том числе — Ильёй Фаликовым, а во-вторых, постараемся не уклоняться от темы разговора совсем уж далеко.

Менее заметные взаимодействия, взаимовлияния, явные и скрытые цитаты каждого из четырёх авторов, о ком подробно сказал Фаликов, в книгах тоже присутствуют. Однако там есть и другие сквозные персонажи. Прежде всего — Илья Эренбург.

Словом, уйдя в минимально подробное обсуждение биографий, опубликованных в серии ЖЗЛ, мы непременно потеряем нить разговора. То есть уйдём от темы, каким образом связаны стихи поэта с персонажами его описательно-критических трудов.

Прежде всего: персонажи эти в книге присутствуют. Цветаева появляется ещё в авторской аннотации. Другие тоже будут упомянуты самым непосредственным образом:

Втрое старше Лермонтова с Рыжим,
засорил немереный эфир,
превосходством численным не движим,
склонности к цифири не явил.

Сложнее с наличием косвенным. Слуцкий говаривал, что поэт должен печатать стихи «первого и тридцать первого сорта». Низших сортов поэзии книга «Прости» не содержит, но тексты, где влияние предшественников кажется явным, — не лучшие на наш читательский вкус. Правда, следующий фрагмент перекликается с условно-абстрактным стихотворением Евтушенко:

Об этом знали только наши сики,
не ведая, индусы или сикхи,
красавцев знали девки, раз — и в койку.

Получается, интонационная перекличка, центонность, попытка свести любимых авторов в диалогах — не главные, не определяющие,

¹ Фаликов И. Фактор фонаря: Проза про стихи. — М.: «Рубеж». 2013. — 832 с.

не самые удачные и даже не второстепенные мотивы сборника. В чём же тогда суть?

Поступлю, как на защите квалификационной работы. Выдвину тезис, а затем попытаюсь его обосновать и защитить. Тезис гласит: те, о ком писал Фаликов в книгах серии ЖЗЛ, важны ему как равные в беседе о хронотопах. Понадобится уточнение. Хронотоп хронотопу рознь. Вновь процитируем один из трудов автора. В книге о Рыжем сказано: «...Наш рассказ — о русской интеллигенции в советское время, в пространстве вне столиц». Пространства вне столиц книга «Прости» содержит немало. Только это особое пространство. Нелинейное и многомерное. Пространство, где в одном из стихотворений Вадим Шефнер легко появляется на владивостокской улице Шефнера. А звезда над городами среднего русского юга смеркается, смеркается и никак не может смеркнуться десятилетиями:

За Тулою, над Тулою
смеркается звезда.
Широкою натурою
я не был никогда.
В Калуге, за Калугою
смеркается звезда,
чернильной закорюкою
повиснув навсегда.

Удивительные отношения со временем, тоже многомерные и нелинейные, характерны для многих поэтов. Это банальность, но как-то раз за разом очень неожиданно раскрывающая себя банальность. В противостоянии человека со временем поэтическая удача возможна (насколько вообще возможна поэтическая удача), пророческая удача даже возможна¹, но личная и тем более — воспринятая сколь угодно благожелательным и тщательным читателем — такая удача скорее исключена. Примеров тому масса. В том числе среди авторов, о коих много пишет Фаликов. Вот говорит Давид Самойлов:

Я понимал шестидесятые годы.
И теперь понимаю,
Что происходит и что
Произойдёт из того,
Что происходит.

Далее следует справедливое и очень важное в контексте дальнейшего разговора замечание литератора Александра Лейзеровича: «Несомненно, Самойлов сильно переоценивал свою способность понимать, “что происходит и что произойдёт из того, что происходит”. Но при этом само ощущение исторического времени, его хода и примет было в высшей степени органично для него»¹.

И очень схожие, местами перекликающиеся, хотя и различающиеся в существенных обертонках мысли высказывал Илья Фаликов о друге, современнике и равном поэтическом сопернике Самойлова. О Борисе Слуцком, опять-таки: «Он точно умел определить, что происходит, но не умел или не хотел предвидеть, что произойдет из того, что происходит. В этом недостатке предвидения усматривалась некая немзыкальность, которую связывали с немзыкальностью поэзии Слуцкого»².

Важнейший момент: о собственном месте в ускользающем времени Слуцкий высказывался с предельно ясным осознанием ситуации:

Мне выпало всё. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры в походе великом.
Как валенок мёрзлый валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.

Марина Цветаева пыталась разрешить свои вопросы с проходящим временем на *очень собственный* манер. Но неизбежно оставалась внутри этого времени, точнее — внутри его хода, пусть и сколь угодно замедленного: «Здорово в веках, Владимир» — именно об этом, наверное. Века, наверное, даже и тысячелетия, — это ещё не само время в его глубинной и неподвижной сути. «Ничего не произошло и вряд ли произойдет, но все это

¹ Об этом много и давно пишет Евгений Степанов. Например: *Е. Степанов. Пророческие функции поэзии, или поэты-пророки*. — М. Вест-Консалтинг. — 2011.

¹ Гнёт вины. К вековым юбилеям Давида Самойлова и Бориса Слуцкого. — Александр Лейзерович, *Семь искусств*, № 8. 28.09.2019.

² *Фаликов И.* Пусть будет. — Вопросы литературы, № 5, 2006.

давит» — тоже Цветаева. Причём в момент, когда *происходило* весьма многое. Но в масштабе времени, как феномена; времени, превосходящего человеческие масштабы, — действительно ничего.

О других героях поэтоведческой прозы Фаликова можно, пожалуй, сказать ещё определённой: Евтушенко, удачно попав в поток времени началом своего творчества, долго-долго и как-то не слишком красиво пытался в этом потоке удержаться. А безнадежно отстав, начал вновь создавать крайне интересные и до сих пор не оценённые (в отличие от ранних своих хитов) стихи. Борис Рыжий сразу пытался говорить о прошлом, пусть и совсем недавнем, том, которое он застал в детстве, а наговорившись, — продолжить об ином не захотел...

Так вот. Попытка Фаликова кажется поэтическим эквивалентом единения пространства и времени. Гуманитарным парафразом совокупности естественнонаучных теорий, ставших мировоззренческой базой давненько уж минувшего XX века, но в целокупности своей до сих пор не воспринятых обыденным сознанием. Может, и вовсе не подлежащих восприятию на понятийном уровне. На языке же математики или наоборот — поэзии: другое дело. Тут можно попробовать в постижение.

Прежде всего, надо определить масштаб собственный. Он никак не сообразен времени. При жизни человеческой может перемениться всё, но по сути — это самое «всё» останется прежним. Во всяком случае, для носителя личности и сознания:

* * *

Постоянно спрашивают дом номер девять.
На разных улицах.
Передо мной всё время номер пятнадцать.
Тычу палкой вправо.
Насчёт моей реки так.

Трясогузка на камень не вернулась,
лягушки не поют, но речной извив тяготеет
ко мне.
Я ведь тот же.

Аналогично ничего не переменится и в масштабе доступных нам в описаниях фрагментов истории:

* * *

Где-то с десятого века
долгая длится война
за кипарисы Артека
и за тоннели вина...

Каким-либо образом всерьёз отзывать на происходящее не то, чтоб бессмысленно, но стыдновато, что ли:

* * *

Реагж на такие события
отдаёт безразличием вроде
сучьей морды во время соития
при народе.

Нечто важное понять можно сугубо *для себя*. В сущности, герой другого стихотворения, поэт, приглашённый ханом воспеть море, — это именно ты. И масштаб сразу делается вообразимым, переводимым на вневременной язык. Человек же человеку сообразен, доступен, а человек и время существуют будто в мирах параллельных. Время убивает? Так и пусть себе. Да и вряд ли убивает время как таковое. Ему ж нет дела до людей. Людям до людей — иногда есть.

Среди многочисленных буддийских притч о восприятии времени как пустой сущности есть одна, вкратце излагаемая так: «Двое молодых людей по какой-то причине искали двух барышень. И обратились к мудрецу, сидящему у дороги: “О, Архат, не видел ли ты проходивших мимо красавиц?” — “Нет, только два скелета мимо прошли”».

Такой взгляд на существующее как на уже прошедшее лирическому герою Фаликова чужд. Вернее, противоположен: в его времени существует всё сразу, не растворяясь и не устаревая. Времена сопрягаются. Причём разнообразно: «Императору Павлу хватило/ одного президентского срока...» И тут же лирический герой другого стихотворения бесконечно проживает и переживает свой девяносто третий год, когда его «выплеснуло вместе с нацией/ в Москву-реку».

Или протагонист как прошёл некогда мимо знаменитых и явно названных актёров в малодоступный тогда ЦДЛ — ибо его звали, а их не звали, — так и до сих пор он идёт,

Елена Сафронова

Чувствительный автофикшн

В аннотации к новой книге прозаика, критика и эссеиста Игоря Кузнецова «Тонкие вещи» говорится: «Раньше, уже немного давно, одна любимая тогда женщина требовательно и даже с некоторым раздражением попросила:

— Да напиши ты наконец про свои “тонкие вещи”, а то только всё говоришь и говоришь...»

Цитата взята, как указано тут же, из повести «Отставший». Обычно книжные аннотации довольно далеки от собственно содержания книг (особенно если речь идет о художественной, тем более остросюжетной прозе). Но в случае с книгой Кузнецова аннотация не просто попадает в точку — она выдает мотивацию написания книги, и многое говорит о её сути. Так же, как и посвящение после оглавления «Тане Морозовой». «Тонкие вещи» созданы в память Татьяны Морозовой (1956—2011) — жены, соавтора, друга Игоря Кузнецова, талантливой писательницы и незаурядной художницы. О художественном даре Морозовой свидетельствуют иллюстрации (заставки к составляющим книгу текстам) и обложка: это все рисунки Татьяны. Обложка яркая, весёлая, едва ли не торжествующая по сочетанию броских красок, по фантазийно-цирковому сюжету. Зато содержание книги — далеко не полностью бравурное, что и понятно. Оно, вот именно, тонкое. И по форме, и по смыслу, и в эмоциональном плане.

В книгу вошло четыре крупные вещи, условно названные повестями. Однако это не повести в буквальном понимании. Кузнецов пишет не единые тексты по схеме «завязка —

развитие сюжета — кульминация — развязка». Для этой книги, безусловно, очень важной для себя, он выбрал манеру «игры в бисер». Три из четырёх повестей собраны, точно ожерелья, из небольших эссе или микрорассказов — то открытых, то полностью завершённых, причем каждое эссе снабжено отдельным заголовком. Таковы «Город без невесты», «Путь» с подзаголовком «Повесть о Тане» и «Отставший» с подзаголовком «Повесть про себя». Только «Человек по имени Милорад», описывающая знакомство и встречи с Милорадом Павичем, — цельное повествование, развивающееся хронологически-линейно. Я бы сказала, что эта повесть, прежде всего — обаятельная история об обаятельном человеке, а не только о литературной величине. Кажущееся «панибратство» заголовка объяснено в тексте: «Мы чокнулись с Павичем, и я поинтересовался: “Господин Павич, а как к вам можно обращаться проще, по-человечески?” “Зови просто Милорадом”, — улыбнувшись в усы, ответил он».

Прочие тексты «Тонких вещей» составлены из небольших, филигранно написанных историй, то продолжающих друг друга, то откликающихся в следующих повестях. Повести написаны в разные годы. «Путь» выходил в «Дружбе народов» в № 8 за 2012 год, а «Отставший» печатался там же в № 6 за 2021-й. В этой книге они расположены в следующем порядке: «Город без невесты», «Человек по имени Милорад», «Путь», «Отставший». Последовательность формально логична: жизнеописание лирического героя, тесно сплетающегося с автором, начинается с нежного возраста, проходит апофеоз литературной карьеры, семейную драму и бытование после утраты жены. Но есть

и логика иного, высшего, порядка. В «бисерном плетении» ярче раскрываются те «мелочи» и «детали», на которые автор хочет художественными средствами заострить внимание: природа творчества, не оставляющего пишущего человека даже в самые страшные секунды жизни.

Мне думается, повести составлены из мелких сюжетов как раз потому, что каждый из них представляет собой одну мысль, одну эмоцию или одно воспоминание. Такую форму автор выбрал оттого, что все четыре произведения чрезвычайно личные. Можно даже сказать, исповедальные. А исповедаться удобнее отдельными эпизодами, нежели длинными «протоколами»...

«Город без невесты» — рассказ о детстве, проведённом в Иванове. Иваново описано так, что даже я, видевшая этот город только в роли туриста, узнавала многие его достопримечательности (включая кладбище Балино, где по преданию были расстрельные рвы известной поры, в одном из которых покоится мой прадед). Дополнения о старших членах семьи превращают автобиографию в своего рода семейную сагу, но сразу видно, что не история семейства интересует автора, а бесценные моменты минувшего: «И ещё, когда меня невозможно было загнать с улицы домой обедать, моя суровая бабушка, покричав мне с балкона, выходила к скамейке перед подъездом и вручала мне бутылку кефира и полбатона. Наверное, не такой уж строгой и непреклонной она была». Не все фрагменты младых лет Кузнецова так симпатичны; но все они для писателя психологически и эстетически значимы. В какой-то момент мы все приходим к потребности оглянуться назад, заново пережить прошлое как самую «тонкую вещь» нашего становления и поделиться её подробностями со слушателями — для литераторов слушателями, как правило, становятся читатели.

Впрочем, с волшебными воспоминаниями детства и юности Кузнецов «расправляется» двумя фразами, замыкающими последнее эссе повести «Город без невесты» — «О любви»: «Может быть, в этом и есть главный смысл изначальной мудрости: всё помнить и не обо всём говорить. А в городе пусть всё будет хорошо, хотя я и никогда туда не вернусь». Детские пейзажи, компашки, ивановские

городские мифы и студенческие хлопоты теперь имеют для писателя только вспомогательное значение. Чего не скажешь о событиях, легших в основу повестей о более старшем возрасте: о браке с Татьяной Морозовой и о писательском бытии Игоря Кузнецова.

По дефиниции «Тонкие вещи» — чистый, классический автофикшн в определении, данном еще основателем жанра Сержем Дубровским в аннотации к его роману «Сын»: «Автобиография — привилегия, оставляемая важным деятелям этого мира, сумеркам их жизни и красивому стилю. Перед вами — вымысел абсолютно достоверных событий и фактов; если угодно, автофикшн, доверивший язык авантюры авантюре языка...» Характеристика, которую дает Википедия: «Произведение в жанре автофикшн в большей или меньшей степени соответствует биографии автора, однако, в отличие от автобиографии и мемуаров, перед ним или ней не стоит задачи точно и детально пересказать события своей жизни. В угоду авторскому замыслу и художественной ценности допускается вымысел фактов, а сюжет как таковой может отсутствовать — основной упор делается на чувства и переживания рассказчика...»

О чудесных возможностях автофикшна прямо сказано в эссе «Второй том, или Куда отставший?» повести «Отставший»:

Когда я сочинил трудную повесть про остров прокажённых, где роль одного из персонажей сыграл мой армейский друг Володя, я ему её отправил — почитать.

Володя позвонил через пару дней:

— Здорово ты написал про наш остров!

Особенно как мы на медведя ходили.

Я выдержал ошеломлённую паузу.

— Вова, я же всё это придумал!

<...>

Володя строго, но снисходительно хмыкнул.

— Да будешь ты мне говорить!»

Кузнецов отказывается от последовательного и логичного сюжета, обращается к наиболее впечатляющим страницам, насыщает текст чувствами и переживаниями и формирует новую реальность. Особенно это касается повести «Путь»: семейного счастья с лирическими, туристическими и литературными отступлениями, завершающегося невыразимо пронзительной картиной смерти Татьяны Морозовой

в Пасхальную ночь, что без комка в горле читать невозможно:

«Я сходил в ванную и принёс маленькое и круглое Танино зеркало, перед которым она обычно прихорашивалась. Зеркало не запотело.

— Это — всё, — сказал я. И, подержав ладонь на её спокойном прохладном лбу, закрыл Тане глаза.

Наташа заплакала. ...Я остановил часы.

Через час пятнадцать Христос воскрес».

Равно как и другие эпизоды — предвестники исхода: «В этом пустом доме я впервые по-настоящему ПОНЯЛ, что Тани скоро НЕ БУДЕТ. И это было по-настоящему страшно»... «Я держал её руку в своей — осторожно и ласково. Иногда она слабенько сжимала мою руку, и я чувствовал, до спазма в горле, как ей больно».

Есть ли художественный вымысел, приукрашивание жизненной правды или отступление от фактографии, в этих сценах, со стороны сказать нельзя. Но это абсолютно не нужно. В данном случае значение имеет лишь эмоциональный накал, вложенный автором в повествование, и заряд эмпатии, которую он надеется вызвать у читателя. На этот эффект работает и вышеупомянутая «авантюра языка». Кузнецов прибегает то к инверсиям, то к длинным развернутым фразам с множеством причастных и деепричастных оборотов, эпитетов, метафор. То есть выражается так, как в повседневной речи люди не говорят. Этим автофикшн отличается от автобиографии, дневника и протокола.

Но у жанра есть и недостатки — и один из них тот, что только воистину уникальная

судьба порождает уникальный автофикшн, а схожий жизненный опыт диктует «повторяющиеся» тексты. Кузнецов тоже не избежал повторов — не самоповторов, вроде Амстердама, явно намеренно вплетенного в повествование несколько раз, а переключки его историй с другими авторами. Так, в «Тонких вещах» не слишком оригинальны литературские байки, в том числе зарисовки из Литинститута и написание коммерческой прозы в тандеме с женой под насмешливыми псевдонимами Генералов и Безобразов (да и другая «творческая кухня» соавторов). Воспоминания о работе пиарщиками на выборах дышат сатирой, что тоже не ново. И даже рассказы Кузнецова из поездок по свету отличаются от соцсетей трэвел-блогеров разве что лучшим литературным уровнем. Подытожу: книга Кузнецова, как яркий образец автофикшна, высвечивает все его преимущества и слабости.

К слову, вспоминая своего литинститутского наставника Лобанова, автор пишет: «Надо отдать должное Михаилу Петровичу... он, несмотря на своё почвенничество и “канонические” литературные пристрастия, обладал отменным вкусом и немалой широтой восприятия иной, даже чуждой ему литературы. Главное — КАК это написано». То же самое можно сказать и о книге самого Кузнецова. Главное в хрониках его жизни — как это написано. Он заботится о слоге неустанно, но тонко, почти неуловимо, и текст, порой искусственно усложненный, воспринимается легко, естественно и «чувствительно».

Ольга Балла

«В эпицентре мини-экокатастрофы»

Владимир КОРКУНОВ. Тростник на изнанке Земли. — Алматы: Дактиль, 2023.

Книга поэта, переводчика, литературного критика, редактора, журналиста Владимира Коркунова, уже третий для автора поэтический сборник (предыдущие: «Кратковременная потеря речи»¹ и «Последний концерт оркестра-призрака»²), открыла собой в прошлом году книжную серию выходящего в Алматы журнала «Дактиль», который и сам появился только в 2019 году как независимая площадка для казахстанских авторов (а потом усложнился сразу в двух направлениях: с одной стороны, начал публиковать тексты и зарубежных авторов, с другой же — сделался двуязычным и теперь говорит с читателем как по-русски, так и по-казахски). За книгой Коркунова вскоре последовали сборник прозы Валерии Крутовой «Наверность» и две поэтические книги: «33 единицы зелени» Ивана Полторацкого и «На языке шавермы» Павла Банникова. За исключением Коркунова, выросшего в России и теперь живущего на две страны, все авторы серии — русские казахстанцы, люди двух культур с их взаимоналожением и сложным взаимодействием при некотором преобладании русской культуры в местном её варианте. Впрочем, «Дактиль» — ни как журнал, ни как книжная серия — границ не проводит, он их, скорее, пересекает, и открыл серию именно Коркуновым как человеком, живущим, пишущим и чувствующим поверх всяческих барьеров, в этом смысле было очень логично. О проблемах какой бы то ни было степени локальности он не говорит: сразу — об универсальном, касающемся каждого совершенно независимо от культурных, социальных, политических и вообще любых координат.

Поэтические тексты Коркунова соединяют в себе то, что может показаться несовместимым, но на самом деле глубочайше друг с другом связано: внутреннюю конфликтность, напряжённость, сложность — и тончайшую нежность ко всему живому. (В этом смысле линия, связывающая все три его сборника, — непрерывная и восходящая.) Живое автор чувствует прежде всего прочего (чуть ли не единственно!) в аспекте его угрожаемости, хрупкости, обречённости. И это даже не связано напрямую, кажется, с «разрушительными событиями последнего времени»³, как сказала Влада Баронец в рецензии на этот сборник в том же «Дактиле». Событий

¹ М.: Русский Гулливер, 2019.

² Екатеринбург — М.: Кабинетный учёный, 2021. — 60 с. — (InВерсия, вып. 8).

³ <https://daktilmag.kz/47/article/vlada-baronec-telo-prohodyashchee-naskvoz-o-knige-vladimir-korkunova-trostnik-na-drugoy-storone-zemli/776>

(в смысле, больших исторических) в этой книге как будто нет — хотя некоторые места на них вроде бы указывают, но они могут быть прочитаны и помимо «большого исторического» без всякой потери смысла, — как, например: «говорите его звали артемом но как его теперь опознать/ говорите вам сказали гематомы/ говорите вам сказали синяки/ говорите вам сказали кровоподтёки»; или вот ещё, — в приводимой ниже цитате исторического заметно больше, — и это тем более бросается в глаза, что стихотворение как будто лирическое и обращено к волнующей лирического субъекта женщине:

твоими губами засажена вся планета —
и значит ты целуешь всех пчёл лишённых улья
ты видела как горевал пасечник у разорённого города
разломанные многоквартирные соты — пчёлы-беженцы
тщетно ищут новый дом на соседнем поле
и находят приют на твоих чрезвычайно жёлтых губах

Внимание автора целиком сосредоточено на человеческих страданиях, способных случиться — и случающихся — когда угодно; но правда и то, что катастрофические времена делают человека особенно восприимчивым к ним и, вероятно, подталкивают к тому, чтобы усматривать насилие и страдание и за пределами человеческого — в природе как её устойчивый признак.

две вороны —
на карнизе воспалённых глаз
выклёвывают роговицы
вертикальных луж

Едва ли не каждое из вошедших в книгу стихотворений — о травме, смерти, гибели, утрате, беде, обыкновенно непоправимой (хотя бы и невозвратимого прошлого: «каждое утро я захожу в твою комнату/ в последний раз ты была здесь в шестнадцать лет»), боли (хотя бы и причиняемой врачом, то есть во спасение — всё равно больно, и это совершенно вытесняет из внимания спасительность действия: «врач тянет из ноздри невод ткани —/ кровь подростка падает на створки халата/ кашель разбивается брызгами о стёкла очков <...> мальчик не смог удержать сознание —/ он теперь губка| он теперь капля красное тельце боли»), невозможности, которая тоже в каком-то роде разновидность прижизненной смерти — так жизнь в виде звуков не может проникнуть к глухому Кирюше, и он остаётся от неё изолированным, как бы не вполне вместе с живыми. Это последнее — наверняка настоящий случай из опыта автора, уже несколько лет работающего с людьми, лишёнными слуха и/или зрения и речи в рамках Фонда поддержки слепоглухонемых «Со-единение». Тем не менее выбор этого случая представляется совсем не случайным: невозможность у Коркунова как бы встроена в существование вообще — в качестве его неотменимого и неминуемого признака.

Высказывания Коркунова обо всём этом прямы, а иногда совсем прямолинейны: «нет — и вспарывает одежду/ нет — и душит душит душит это клокочущее горло/ нет — и заворачивает тело в ткань...». Не переставая думать и чувствовать о том, насколько уязвимо всё живое, Коркунов тем не менее — именно вследствие этого — бьёт по болевым точкам читателя наотмашь и безошибочно: чтобы не загорались от чужой боли (чужой боли для него, похоже, вовсе нет, вся — своя), не отращивали себе защитные механизмы.

О типе его мировосприятия хорошо сказала в той же рецензии Баронец: «...Новая книга стихов Владимира Коркунова <...> сосредоточена на телесности

как универсальном мирообразующем принципе»¹. На телесности — и верном её спутнике, боли — поэтическое внимание Коркунова было сосредоточено и раньше; здесь внимание его, скорее, сместилось в направлении боли и того, что её причиняет, — разрушения. В этой книге повествователь постоянно чувствует себя «в эпицентре мини-экокатастрофы».

И земле — уже просто потому, что у неё есть тело, — в стихах Коркунова больно:

камыш — иголка на теле земли — говорила ты
Бог вставляет её туда где болит

(Обратим внимание и на связь — не тождество ли? — маленького, ранимого — и предельно важного: точки, «точечки», в которой в теле земли вставлен камыш-иголка — и самого Бога, который эту иголку туда вставляет, потому что там «болит», и эта «точечка» — в центре. И поэтому тоже единичное человеческое страдание для поэта существенно больше и значительнее любых исторических событий.)

Даже детство у него в родстве куда более со страданием, со смертью («дай свежести смерти принять в себя Дитя»), с насилием («копия с отрезанной спиной говорит: / если взять ребёнка за руку/ её выкрутит механизм чужих слов/ у всех детей вывернуты руки/ не всем удаётся ввинтить их обратно»), с невозможностью, нежели с чем бы то ни было из того, с чем в нашей культуре привычно его ассоциировать — ну, скажем, с лёгкостью, безмятежностью... У Коркунова детство, куда скорее, печально и трагично.

И тут стоит заметить ещё один устойчивый компонент этого смыслового комплекса — снег: так глухой Кирюша в одном стихотворении «смотрит немое кино/ первого снега», трогает вьюгу, поёт «в ритме наста»; и страшнее: «снег хрустел как яблоко <...> а эта девочка не успела — и её заносит первый снег»). Снег и прочая зимняя феноменология повторяются у него в разных контекстах; главное время этих стихов — зима как наиболее чуждое жизни состояние мира: «снег падает на время», «вьюга заносит деревья за твоим окном», «...священная книга с покрытыми инеем страницами».

Мир, в котором совершаются события его стихотворений (и уж не каждое ли из упоминаемых им детств?), груб, жёсток, жесток и опасен («фонарные часы отбивают руки о клетку кирпичных рёбер»), по определению угрожающий всему маленькому. Я бы сказала, что зрение у него не просто телесное, но *болевое*, имеющее особенную остроту и точность.

Коркунов заметно расширяет диапазон графических средств выражения, а с ними — и интонационные регистры. Систематически пренебрегающий конвенциональной пунктуацией вроде точек и запятых, он применяет зато — регулируя внутренний голос читателя на свой лад — пунктуацию собственную: разбивающую строку изнутри вертикальную линию, — предполагаю, что ей соответствует задержка дыхания, двойную вертикальную линию — ей, допустим, соответствует пауза более продолжительная; скобки угловые (которые, можно предположить, энергичнее и жёстче, чем круглые, отсекают содержащееся внутри них от того, что остаётся за их пределами) и квадратные (явно тоже резко отсекающие своё содержимое от внешнего, но, наверное, на какой-то иной лад); использует шрифты разных размеров: тот, что мельче, по всей вероятности, соответствует *внутреннему шёпоту*; пробелы между словами, соответствующие, вероятно, увеличенным паузам, актам *внутреннего*

¹ <https://daktilmag.kz/47/article/vlada-baronec-/telo-prohodyashchee-naskvoz-o-knige-vladimira-korkunova-trostnik-na-drugoy-storone-zemli/776>

молчания; курсив наряду с прямым шрифтом («волшебная палочка задержи рейс в воздухе...» и т.д.), маркирующий, можно предполагать, речь внутреннюю или особенно интенсивную (в цитируемом случае повествователь просит об избавлении пассажиров самолёта в критической ситуации от смерти), зачёркнутый текст («ты идеально знаешь все буквы которые я хочу у тебя прочитать»), означающий, возможно, сомнение в сказанном и убиение его в подтекст прямо на глазах читателя, точку в угловых скобках, видимо, указывающую на намеренно пропускаемое слово: «снег оставшийся после <.> проникает в чёрно-белые тексты», и даже чёрные полосы (блэкауты), обозначающие, надо думать, то, что высказыванию не поддаётся.

Или это та форма, в которой смерть входит в тексты уже помимо слов?

Почти каждое из стихотворений-событий Коркунова разворачивается на — легко пересекаемой, но очень остро ощутимой — границе между жизнью и смертью. Лирический субъект входит со смертью в непосредственный контакт (не она ли в цикле о реанимации «просит не отправлять» очередное сообщение, вьётся вокруг повествователя, обнимает его, накрывает собой и заводит ему «сердце ещё на один день?»). Любовь и смерть у него совершенно неразделимы (сказала бы что-нибудь вроде того, что составляют один смысловой / мотивный комплекс, но не поворачивается язык произносить учёные слова), и смерть, непреодолимая, потому только так остро чувствуется, что жива и очень сильна любовь.

Коркунов трагичен, тёмн, резок. Но резкость его — прямое следствие жизнелюбия и непрестанного чувства безусловной ценности жизни — тем ещё более драгоценной, что хрупкой и обречённой.

Борис Минаев

САМИ ВИНОВАТЫ

Несколько лет назад мы с друзьями и подругами, путешествуя по нашей необъятной, как поется в песне, родине, заглянули в город Екатеринбург. Именно в этот момент нам пришла в голову идея вместе со знающим человеком (то есть экскурсоводом) посетить место расстрела царской семьи, где мы ни разу не были.

Легко сказать — «посетить место расстрела». С этим местом расстрела, так же, как и с царскими останками, все очень непросто, и непросто до сих пор.

Существует Ганина яма: огромный храмовый и мемориальный комплекс, официально признанный православной церковью, — место, так сказать, народного поклонения. Там очень красиво, колыхаются не очень высокие уральские сосны, солнечный свет пробивается сквозь огромные портреты царевен и царевича, выполненные на полотне, от этого возникает мистическое, воздушное ощущение их присутствия, кругом стоят красивые деревянные храмы, и их немало. Ну, вот здесь вроде бы и надо молиться, вспоминать, притихнуть...

И еще существует Поросянков Лог — такая, как бы сказать, лесная поляна недалеко от железнодорожного разъезда, сразу рядом с шоссе.

Там вообще ничего нет, кроме какого-то одного скромного портрета, припиленного к старой сосне, каких-то скромных цветочков, которые вечно торчат, как нелепые и никем не признанные свидетельства *другой* правды.

И вот эта *другая правда* прошибает вас буквально с первого взгляда. На уровне инстинкта, мурашек по коже, почему-то сразу понятно: *это было здесь*.

Я не буду погружать читателя в эти долгие споры о том, прав ли был колчаковский следователь Соколов (и другие следователи с той, «белой», стороны), который в целом согласился с тем, что тела были уничтожены в Ганиной яме, сожжены в огромном костре, или правы были другие следователи, и справедливы другие, позднейшие версии, которые указывают на то, что все убийство в целом происходило очень сложным, запутанным и жестоким образом, и до сих пор во всей этой цепи событий много неразгаданного. (Ну, соответственно, и спор о принадлежности останков тоже продолжается.)

Об этом существуют тонны публикаций, сотни книг, немало фильмов, документальных и художественных; и, наверное, это одна из самых главных и самых мрачных загадок советской истории — скорее всего, из того рода загадок, которые до конца не будут разгаданы никогда. Экскурсовод К.Брыляков рассказал, что, когда в 1920-е годы в Екатеринбурге выступал Владимир Маяковский, он попросил отвезти его

на место расстрела царской семьи, — и шофер, молча и без всяких комментариев, привез его именно сюда, в Поросёнков Лог.

...В 2019 году известный уральский драматург Олег Богаев (кстати, наш коллега, главный редактор журнала «Урал») написал очень короткую «пьесу для чтения» под названием «Я убил царя». А потом эту пьесу поставил Владимир Мирзоев в московском театре «Пространство внутри».

Казалось бы, ну что еще можно сказать об этой — всемирно-исторической — трагедии?

Что еще можно написать после, скажем, многотомной эпопеи Эдварда Радзинского, после его многосерийных телепередач, которые затаив дыхание смотрела вся страна, а ведь это лишь тот источник, который на поверхности лежит?

О том, как происходили сами трагические события в Ипатьевском доме, как происходил сам расстрел, как вели себя те и другие, жертвы и палачи, каковы были последние месяцы, недели и дни Романовых, мы теперь знаем, казалось бы, все. До мелочей. До деталей.

Но драматургу Богаеву и режиссеру Мирзоеву удалось найти тот угол зрения, который совершенно по-иному освещает всю картинку.

И эта самая «картинка» вдруг становится абсолютно иной.

Когда мы всматриваемся в те ужасные события, мы видим лишь навязанную нам долгой традицией историческую рамку: «рабочие и крестьяне», большевики, «восставший народ» с одной стороны и «белые офицеры», монархисты или кадеты (и иные сторонники парламентской республики) с другой. То есть это всем известная схема *Гражданской войны*. И вся изумительно сильная советская кинематография 1960-х годов — от «Сорок первого» Чухрая до «Бега» Алова и Наумова — воссоздает все ту же самую историческую рамку.

Но что за пределами рамки? Что чувствовали, что переживали «просто люди»? Обыватели? Горожане?

Из всей трагедии авторы спектакля вычленили лишь один слой — вот этих самых обывателей. И вдруг «картинка» перевернулась.

Уборщица, прачка, шофер, плотник — персонажи спектакля; это лишь те, кто имел отношение к самому расстрелу, выполнял, так сказать, «техническую работу». Эта «техническая работа» была ужасна — когда ты таскаешь бидоны с едой, это еще как-то терпимо, а когда ты отмываешь полы от крови, или везешь трупы неизвестно куда глухой ночью, или закрашиваешь белилами окна, или перерезаешь кусачками провода, чтобы «они не могли читать по ночам», это очень похоже на соучастие. Но дело тут в другом: постепенно мы понимаем, что соучастниками оказываются вообще-то все, весь город. Весь Екатеринбург. Все его обыватели. Гимназистки и юнкера, продолжавшие в этот самый момент учиться в офицерском училище, дворники и сторожа, посудомойки и лавочники, интеллигенты и простые трудяги. Все они прекрасно знали, что происходит в Ипатьевском доме, город-то был маленький, все они осознавали, какая судьба ждет тех, кто там оказался.

И все они... Ну как бы это сказать?

Все они оказались в ситуации той самой «выученной беспомощности», о которой сейчас так много говорят. В положении «третьей стороны», которая и не за белых, и не за красных. Не за царя и не против.

В ситуации невольных, безмолвных, нейтральных, пассивных, можно по-разному сказать, свидетелей. В ситуации людей, которые с полным правом могут сказать: «Ну а что мы могли сделать? Чего, собственно, вы от нас хотите?»

Во всех этих монологах, созданных «по мотивам» и «на основе» реальных допросов, меня лично поразила одна, казалось бы, не самая важная тема — тема того, как широко продавались или подделывались для продажи вещи царской семьи. Вещей было «несколько сундуков», была посуда «с царскими вензелями», мелочи, аксессуары типа портсигара, в торговый оборот шло буквально все, даже нижнее и постельное белье, это был целый огромный бизнес, который продолжался несколько месяцев.

Богаев не случайно проводит эту тему купли-продажи сквозь всю пьесу, об этом говорят многие персонажи. Есть высокие понятия, «христианские чувства», а есть — будничная жизнь, «просто жизнь», в которой городские обыватели не гнушаются обмениваться, дарить и перепродавать вещи людей, которые уже убиты или будут убиты. Деталь? Да, но сквозь нее можно понять целое.

Всю эту огромную императорскую Россию, весь этот политический строй с его главным символом — царской семьей — они все *уже* похоронили, и им хочется оставить для себя и для потомков «хоть что-то», «вещички», на память... Да и сами вещички — очень неплохие. Пригодятся. И что же в этом «такого»?

«Россия слиняла в три дня» — довольно известное выражение, здесь, у этой хрестоматийной формулы Василия Розанова, есть продолжение и развитие. Нет, не «разброд элит», не «шатания в армии», не слабость политики, не «страшное совпадение разных обстоятельств», в основе всего — было именно это. Вот этот «взгляд со стороны», вот эта невозможность выйти за рамки своей частной жизни, невозможность ни во что вмешаться...

Страшная формула любой всемирной трагедии: «А что мы могли сделать?»

Еще вчера эти люди ходили на молебны, с хоругвями и портретами, вешали иконы в красный угол, искренне верили в свои верноподданнические чувства, — а сегодня они уже покупают на рынке простыни, скатерти и чашки с царскими вензелями. Всё случилось, всё уже произошло. Без них. Помимо них.

Это *не их* драма. Они — лишь ее свидетели.

Считается почему-то, что «колчаковский» следователь Николай Соколов был единственным, кто собирал показания, пока не пришли красные, которые, опять-таки, как считается по умолчанию, хотели всё скрыть. Это не так.

После того, что случилось в Екатеринбурге, со свидетелями, с горожанами работала далеко не одна следственная группа.

Следователей, дознавателей было много и с той, и с другой стороны, многим в городе пришлось давать показания, и они были хорошо задокументированы. И поэтому поначалу кажется, что в основе пьесы — именно эти допросы и эти показания. Инженер Ипатьев, который искренне не понимает, почему к следствию привлекают его, задают ненужные вопросы, — что он-то мог сделать? Он даже предъявляет претензии, перечисляет материальный ущерб: диваны, ковры, все новое. Прачка и поломойка, которые описывают тот ужас, ту адскую грязь, которые открылись им после расстрела. Юнкер, будущий офицер (наверняка ушел вместе с Колчаком), который рассказывает, как они с товарищами сдавали масло из своего пайка, чтобы «поддержать» царскую семью, передавали им записки. Но у пьесы Олега Богаева есть подзаголовок — «пост-документальная», и постепенно в ней появляются совсем иные персонажи: те, кто никогда и ни под каким видом не смог бы дать «показаний», но вот здесь, в этом самом «пространстве», пространстве мысли, пространстве диалога с нашей собственной совестью и памятью — это возможно. Появляется, например, царский пудель, чудом спасшийся во время расстрела и живущий теперь у путевого обходчика или сторожа. (Это, кстати говоря, одна

из четырех ролей фантастической Елены Кореновой, занятой здесь... Впрочем, и другие актеры: Ирина Рындина, Юлия Салмина, Мария Карлсон, Олег Дуленин, Александр Доронин и Сергей Беляев — каждую секунду сценического времени сохраняют его высочайший драматический накал.)

Это и Пётр Ермаков, расстрелявший царскую семью и, конечно, никогда не говоривший о том, что это именно он, а не «все эти евреи», привел приговор в исполнение. Это безумная репортерша, которая описывает «чудесное спасение» на воздушных шарах, и безумная гимназистка, которая настаивает на том, что это именно она «привела приговор в исполнение», и другие персонажи, которые расширяют границы смыслов, — до какой-то почти мистической или вселенской полноты.

И все же... Главным для меня остается вот этот настойчивый вопрос, обращенный к каждому из них: «Вам их не жалко?»

И варианты ответов, которые не помещаются в сознании, не хотят в него помещаться, потому что, как выясняется, — нет, не жалко никому.

Потому что «они сами виноваты». Потому что если жалко, — то жить дальше как?

И это довольно точно и довольно страшно.

Summary

Elena Ermolovich. Gogoryu-91

This long short story by E. Ermolovich is a kind of half-turn back, into the beginning of the fiery nineties, from many years after – the memoirs of an elderly man. A print of the past is somewhere pale, somewhere desperately glowing. “For someone those times were nevertheless the best in the life, the happiest”. To tell the truth they were different, those times, both horrible and joyful. Blood on the asphalt for one; a crazy night flight in a rickety airplane along the route anyhow marked on the paper map – for another.

Poetry

The Time is a cross-cutting theme of Sukhbat Aflatuny’s philosophic miniatures. “What is it that a human being humanizes and what is it that humanizes a human being?” – this question nearly childish in its form but containing a deep meaning opens the collection of poems by the priest and poet from Donetsk Dmitrij Trebushnoj. His countryman Ivan Volosyuk presents the cycle of his war poems. Nadezhda Besfamilnaya’s lyrics cherish the memory of the Great Patriotic war.

The Wreath of Memory for Bulat

The 9-th of May is the jubilee of Bulat Okudzhava. Our magazine published not only his poems but also his novels which was a brave deed for those times. All this makes “The Golden Pages of DN”. Under the heading “Okudzhava. 100+” we’ll take a walk through his Moscow addresses, reread maybe the most profound lifetime review on his book of poems, from our days will try to untangle the myth of Napoleon in his novel “Rendezvous with Bonaparte” and will remember two of his best short stories – “Music Lessons” and “The Girl of my Dream”.

Yourij Arabov. Memoirs

“In one’s old age one becomes fussy, is afraid to be a bitch or a genius...” – this is from Yourij Arabov’s poems published in DN five years before his death. “In my generation everybody was writing poems”, – is remembering Arabov. These memoirs – about the poetical studio of Kirill Kovaldgi, about the ma’tre and the members of the studio, about the generation of the “Moscow underground”, about the poems and the times from the eighties till now – are presented here to the readers for the first time. “The participants of that studio are still alive and are working somehow. They haven’t become neither executioners nor victims and this is good... Neither past nor present times haven’t become *ours* for us...”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

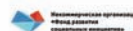
Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

**3 приза
по 500 000 р.**

**в трёх
номинациях**

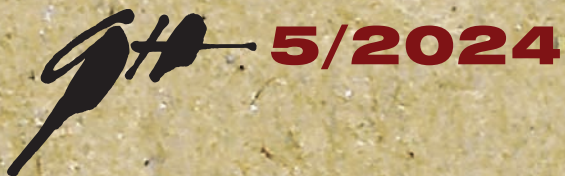
- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2024 года

18+



премияарсеньева.рф



По страницам «ДН»

«В один из дней моего военного детства согбенный дед Мамзин, старейший нашего рода Кевонгов, обманувшись в ожидании скорого возвращения кормильцев с войны, решил рано приобщить меня к морской охоте. Но в начале я принимал участие только в "кормлении ызнгов" — хозяев мест, где должна пройти охота. Дед держал на ладони щепоть чая, щепоть табака, сушёные клубни сараны, кусочек сахара и, обращаясь к таинственному ызнгу, говорил: "Вот! Мы пришли к тебе. Бедные мы люди, неимущие". Я слушал старика вполуха и не сводил глаз с ладони, глотал слюни — на столе у нас давно не было сахара. Старик, видно, припрятал немного и пускал на самое важное дело — кормление духов перед охотой. /.../

Старики охотники на своих долбленных из тополя лодках уходили во льды.

А я на берегу старался изо всех сил вести себя тихо, не бегал, не озорничал, ведь Хозяин моря может подумать, что мои шалости идут от сытой жизни, и не даст охотникам добычи...»

**Владимир Санги.
От исторических преданий
до исторических романов**

1981, №4